

Энн Бронте Агнес Грей

Глава I ДОМ ПРИ ЦЕРКВИ

Все правдивые истории содержат мораль, хотя порой клад этот погребен очень глубоко и откопать его удастся не сразу, после чего он оказывается столь скудным, что иссохшее ядрышко не оправдывает усилий, потраченных на то, чтобы расколоть скорлупу. Такова ли моя история, судить не мне. Порой мне кажется, что она может принести пользу одним и развлечь других, но пусть свет сам вынесет свой приговор. Надежно укрытая безвестностью, прошедшими годами и вымышленными именами, я не боюсь откровенно поведать читателям о том, чего не открывала бы самой задушевной подруге.

Мой отец был священником на севере Англии, пользовался заслуженным уважением всех, его знавших, и в молодости жил безбедно на жалованье младшего священника небольшого прихода и деньги, которое приносило крохотное именье. Мама была дочерью помещика, и вышла за него наперекор своим близким, но она умела поставить на своем. Тщетно ее убеждали, что, соединив судьбу с неимущим служителем церкви, она должна будет отказаться от экипажа, от горничной, от роскоши и утонченности, даруемых богатством, – от всего, что с детства успело стать для нее необходимым. Экипаж и горничная, отвечала она, очень скрашивают жизнь, но, благодарение Небу, у нее есть ноги, и она сумеет добраться, куда ей понадобится, и у нее есть руки, чтобы самой делать для себя все, что нужно. Красивый дом и обширный парк – соблазн немалый, но она предпочитает жить в убогой хижине с Ричардом Греем, чем во дворце с кем-либо еще.

Убедившись в тщетности уговоров, ее отец в конце концов дал влюбленным согласие на их брак, раз уж им так заблагорассудилось, но предупредил, что тем самым его дочь лишится своей доли наследства. Подобная угроза, по его убеждению, должна была неминуемо охладить их пыл. Но он ошибся. Моего отца пленили душевные достоинства моей матери, он знал, какое сокровище найдет в ней, и был счастлив обрести ее на любых условиях, лишь бы она дала согласие украсить собой его скромный очаг. Она же готова была трудиться собственными руками, лишь бы не разлучаться с тем, кого полюбила, чье счастье с восторгом мечтала составить, с кем уже слилась сердцем и душой. И вот предназначавшаяся ей доля отцовского состояния пополнила кошелек ее более разумной сестры, отдавшей руку богатому набобу, она же, к удивлению и сострадательному огорчению всех ее знавших, погребла себя в смиренном домике при деревенской церкви в... Однако, вопреки всему этому, вопреки вспыльчивости моей матери и чудачествам моего отца, вы, я уверена, могли бы обыскать всю Англию и не найти более счастливой супружеской пары.

Судьба послала им шестерых детей, но только Мэри, моя сестра, и я выдержали все опасности младенчества и раннего детства. Я была моложе Мэри на шесть лет и оставалась «деточкой» и любимицей всей семьи – папа, мама, сестра меня избаловали – нет, не глупой снисходительностью, которая сделала бы меня капризной и непослушной, а ласковой заботливостью, приучившей меня к беспомощности и зависимости от них и не подготовившей к жизненным заботам, ударам судьбы и невзгодам.

Мы с Мэри росли в строгом уединении. Мама, отлично образованная и деятельная, занималась нашим воспитанием сама и учила нас всему, кроме латыни, преподавать которую нам взялся папа, а потому в пансион нас не отдали. Подходящих для нас подруг в округе не было, и наше знакомство с миром ограничивалось чопорными чаепитиями в обществе наиболее зажиточных местных фермеров и лавочников (устраиваемыми только для избежания обвинений в чванстве) да ежегодными поездками к бабушке по отцу, в чьем доме, кроме него самого, добрейшей нашей бабушки, незамужней тетушки да двух-трех пожилых дам, мы никого не видели. Иногда мама развлекала нас рассказами о своей юности, о всяких забавных происшествиях. Мы обе очень любили их слушать, и – во всяком случае, во мне – они часто пробуждали тайное желание самой повидать белый свет.

Как счастлива была в юности мама, думалось мне, однако она как будто не жалела о былом. Но папа, человек по натуре чуждый беспечной бодрости, часто беспричинно мучил себя мыслями

о жертвах, которые принесла ему его милая жена, и без конца ломал голову над тем, как бы ради нее и нас с Мэри пополнить свои скромные доходы. Тщетно мама уверяла его, что всем довольна. Пусть он только откладывает кое-что на будущее для девочек, и мы ни в чем не будем нуждаться ни теперь, ни потом. Но умением экономить и откладывать мой отец совсем не обладал. Он не входил в долги (то есть мама внимательно следила, чтобы этого не случилось), но полагал, что деньги, пока они есть, надо тратить. Ему нравилось, что его дом хорошо обставлен, жена и дочки нарядно одеты и не вынуждены утруждать себя черной работой. Кроме того, он был очень добр и любил помогать неимущим в меру своих средств – и даже не в меру, как, возможно, считали некоторые.

И вот однажды любезный знакомый предложил ему способ разом удвоить его состояние, чтобы затем оно продолжало увеличиваться, сколько он ни пожелает. Знакомый этот был купцом очень предприимчивым и дальновидным, однако недостаток оборотного капитала несколько ограничивал его замыслы. Он щедро предложил моему отцу честную долю своих прибылей, если только тот доверит ему большую часть своего состояния: какой бы ни оказалась эта сумма, он ручается, что увеличится она по меньшей мере вдвое. Папа незамедлительно обратил свою недвижимость в деньги и все их вручил обязательному купцу, который тут же начал грузить корабль и готовить его в плавание.

Папа, да и мы все с восторгом думали о том, что сулит нам будущее, хотя должны были довольствоваться отныне лишь жалованьем младшего священника. Впрочем, папа полагал, что нам вовсе не обязательно сокращать свои расходы до такой мизерной суммы, и вот, записывая на книжку у мистера Джонсона, у Смита и у Хобсона, мы зажили даже лучше, чем прежде, хотя мама полагала, что нам следует держать себя в границах, так как надежды на богатство оставались все-таки зыбкими, – пусть только папа положится на ее умение вести хозяйство, и ему не придется ни в чем себя урезать. Однако он против обыкновения не желал ничего слушать.

Какие счастливые часы проводили мы с Мэри, сидя с рукодельем у огня, гуляя по вересковым холмам или отдыхая под плакучей березой – единственным более или менее тенистым деревом в нашем садике! Мы говорили о грядущем счастье – и нашем, и наших родителей, о том, что мы будем делать, что увидим, чем обзаведемся, а фундаментом наших воздушных замков были богатства, которыми одарят нас успешные торговые сделки почтенного купца. Папа тешил себя мечтами почти как мы, хотя и делал вид будто просто посмеивается над нами, облакая свои радужные надежды и гордые ожидания в шуточки и поддразнивания, которые мне казались необыкновенно остроумными и милыми. Мама весело смеялась, радуясь его радости, но ее томили опасения, что он слишком уж много ждет от своей затеи, – однажды я услышала, как она прошептала выходя из комнаты:

– Дай-то Бог, чтобы его не постигло разочарование. Просто не знаю, как он выдержит!

Но разочарование его постигло. И жестокое. Словно гром с ясного неба пришло известие, что корабль, на который мы так уповали, потерпел крушение и утонул со всем грузом, несколькими матросами и злополучным купцом.

Я горевала о его гибели, я горевала о наших рассыпавшихся в прах воздушных замках, но молодость отходчива, и вскоре я совсем оправилась от этого удара.

Хотя в богатстве была своя прелесть, бедность нисколько не страшила меня, молоденькую и совсем не знавшую жизни. Напротив, сказать правду, в мысли о нужде, с которой нам предстояло бороться, крылось что-то вдохновляющее. Я лишь жалела, что папа, мама и Мэри не разделяют мою точку зрения: ведь тогда бы вместо того, чтобы сетовать и оплакивать прошлые бедствия, мы могли бы, не унывая, взяться за дело вместе, чтобы все поправить, – и чем больше поджидало нас трудностей, чем горше было наше положение, с тем большей бодростью следовало нам сносить его и с тем большим упорством преодолевать эти трудности.

Мэри не сетовала вслух, но постоянно размышляла о случившемся и в конце концов погрузилась в тихую грусть, которую не могли рассеять никакие мои усилия. Убедить ее, как я убедила себя, что тут есть и своя светлая сторона, мне не удалось бы. А впрочем, опасаясь обвинений в детском легкомыслии или глупой бесчувственности, я старательно прятала свои умные выводы и бодрящие мысли, прекрасно зная, что одобрены они не будут.

Мама думала лишь о том, как утешить папу, уплатить долги и сократить насколько возможно наши расходы, но папа был совершенно сломлен обрушившимся на нас несчастьем – здоровье, силы, твердость духа не выдержали подобного удара, и он так до конца и не стал прежним. Тщетно мама старалась его ободрить, взывая к его благочестию, к его мужеству, к его любви, отданной ей и нам. Любовь эта обернулась для него величайшей мукой: ведь богатства он столь пылко жаждал лишь ради нас, лишь мысль о нас придавала его былым надеждам столь ослепительный блеск, а его разочарование сделала таким жестоким. Он терзался и упрекал себя, что не послушался маминых советов, которые хотя бы избавили его от дополнительного бремени долгов; он винил себя за то, что позволил ей отказаться от роскоши и довольства – чего ради? Чтобы она теперь разделяла с ним все заботы и труды нищеты! Его угнетала мысль, что наделенная всеми светскими талантами красавица, которая в юности знала лишь поклонение и восхищение, теперь превращена в подобие прислуги, что руки ее заняты домашней работой, а голова – расчетами, как и на чем можно сэкономить. Готовность же, с какой она исполняла подобные обязанности, бодрость, с какой она переносила невзгоды, доброта, с какой она избегала и тени упрека, лишь подхлестывали этого искусного самобичевателя. Вот так дух терзал плоть и расстраивал нервы, а они в свой черед усугубляли смятение духа, и так продолжалось, пока его здоровье не потерпело серьезный ущерб. И никому из нас не удавалось убедить его, что наше положение далеко не так мрачно и безнадежно, как рисовало ему болезненное воображение.

Практичную коляску продали вместе с крепким сытым коньком, нашим общим любимцем, – как твердо верили мы прежде, что он кончит свои дни у нас на покое и мы никогда-никогда не отдадим его в чужие руки! Маленький каретник сдали внаем вместе с конюшней, лакей и более опытная (а потому и более дорогая) горничная были уволены. Наши платья чинились, перелицовывались и штопались почти до неприличия; наша пища, и всегда простая, теперь стала совсем-уж неприхотливой – не считая двух-трех любимых блюд папы; уголь и свечи строго экономились. Вместо двух свечей – одна, которая почти не зажигалась, уголь всячески сберегался, особенно когда папа отсутствовал по делам прихода или лежал больной в спальне – в таких случаях мы ставили ноги на каминную решетку, сгребали скудные тлеющие угли в кучку и подсыпали полсовка угольной пыли и крошева, только когда они грозили вовсе угаснуть. Ковры совсем истерлись, а заплат и штопки на них было даже больше, чем на нашей одежде. Чтобы не тратиться на садовника, мы с Мэри возделывали огород, а стряпней и уборкой, с которыми одна служанка справиться не могла, занимались мама с Мэри, иногда прибегая к моей помощи. Но лишь иногда, потому что, хотя я-то считала себя взрослой, они все еще видели во мне маленькую девочку. К тому же мама, как почти всегда случается с деятельными домовитыми женщинами, не привила эти качества своим дочерям – и по весьма простой причине: слишком уж умелой и хорошей хозяйкой была она сама, а потому не любила перепоручать что-либо другим, но, напротив, предпочитала думать и делать все за них. О чем бы ни шла речь, ей казалось, что никто не сумеет справиться с делом как следует, и обычно, предлагая себя ей в помощницы, я слышала ответы вроде: «Нет, душенька, это не для тебя, ты не сумеешь. Лучше помоги сестре или пойди с ней погулять – скажи, что нельзя все время сидеть дома, не то она совсем исхудает и поблекнет».

«Мэри, мама говорит, чтобы я тебе помогла или пошла бы с тобой погулять. Она говорит, что ты совсем исхудашь и поблекнешь, если будешь все время сидеть дома».

«Помочь мне, Агнес, ты не сумеешь, а пойти погулять с тобой я никак не могу, потому что у меня очень много дел».

«Так поручи мне что-нибудь!»

«Деточка, это не для тебя. Пойди повтори гаммы или поиграй с котенком».

Шитья, правда, всегда было вдоволь, но кроить меня не научили, я умела только подрубить да знала один-два самых простых шва, а потому и тут помочь толком не могла. Мама же и Мэри хором утверждали, что проще сделать все самим, чем оставлять что-то для меня, и к тому же им гораздо приятнее смотреть, как я совершенствуюсь в своих знаниях или развлекаюсь – у меня еще будет время сутулиться над работой, точно старушка, когда мой любимый котенок станет чинной пожилой кошкой. Таким образом, хотя пользы от меня было немногим больше, чем от котенка, мое безделье имело некоторое оправдание.

За все время наших невзгод я лишь один раз слышала, как мама посетовала на то, что у нас нет денег. Однажды весной она сказала нам с Мэри:

– Как было бы хорошо вашему отцу провести несколько недель на курорте! Морской воздух и перемена обстановки, конечно, принесли бы ему огромную пользу. Но ведь вы знаете, что у нас нет таких денег, – dokonчила она со вздохом.

Нас обеих увлекла эта мысль, и мы горько сожалели, что она не может осуществиться.

– Ну-ну, – сказала мама, – жалобами делу не поможешь. А вот что-нибудь придумать нам, может быть, и удастся. Мэри, ты же прекрасно рисуешь! Так почему бы тебе не нарисовать еще несколько акварелей в лучшем своем стиле, не вставить их в рамочки вместе с теми, которые уже у тебя есть, и не попробовать предложить их какому-нибудь почтенному торговцу картинами, у которого хватит ума распознать их достоинства?

– Мама, я была бы очень рада, если, по вашему мнению, их купят, и не совсем уж за гроши.

– Во всяком случае, попытаться стоит, душечка. Рисуи акварели, а я подыщу покупателя.

– Как бы и мне хотелось чем-нибудь помочь! – сказала я.

– Неужели, Агнес? А впрочем, как знать! Ты тоже рисуешь недурно, и если подберешь какой-нибудь простенький сюжет, то, наверное, выйдет очень мило.

– Но я думала совсем о другом, мама, и уже давно, но только мне не хотелось об этом говорить.

– Ах, вот как! И о чем же?

– Мне бы хотелось стать гувернанткой.

Мама ахнула и засмеялась. Мэри от удивления уронила шитье и воскликнула:

– Ты – гувернантка, Агнес? Да как это тебе в голову пришло?

– А что тут такого? Разумеется, учить больших девочек я не гожусь, но маленьких, наверное, сумею. И мне очень хочется! Я так люблю детишек! Мама, ну, разрешите мне!

– Милочка, но ты еще не научилась заботиться даже о себе. А маленькие дети требуют гораздо больше и умения и опыта, чем дети постарше.

– Мама, мне уже девятнадцатый год, и я сумею заботиться и о себе и о других. Вы просто не знаете, какая я благоразумная и рассудительная, потому что у меня не было случая доказать это.

– Только представь себе, – сказала Мэри, – каково тебе придется в чужом доме, где не будет ни меня, ни мамы, и ты должна будешь все делать и говорить сама за себя! Да еще ухаживать за кучей детей. И попросить совета тебе будет не у кого. Ты ведь даже не будешь знать, как одеться!

– Ты так думаешь, потому что я всегда все делаю так, как ты мне говоришь, и ничего не могу решать за себя. Но испытай меня, я ведь ничего другого не прошу, и ты увидишь, как справляюсь!

Тут вошел папа, и ему объяснили, о чем идет речь.

– Как! Моя малютка Агнес – гувернантка? – вскричал он и рассмеялся, на минуту забыв обычную грусть.

– Да, папа. И пожалуйста, хоть вы не возражайте! Мне так хочется, и я верю, что у меня все пойдет отлично.

– Но, деточка моя, ты нужна нам дома! – На глазах у него блеснули слезы, и он добавил: – Нет, нет! Как бы нам ни было тяжело, до этого мы еще не дошли!

– Разумеется, – сказала мама. – В этом нет ни малейшей нужды. Просто глупенькая прихоть. А потому прикуси язычок, гадкая девочка: хотя ты и готова нас покинуть, но мы с тобой расстаться никак не можем, и ты это знаешь.

И мне пришлось замолчать. На много дней. Но я не могла отказаться от своего заветного плана. Мэри теперь усердно писала акварели. Я тоже сидела с кисточками и красками, но мысли мои витали далеко. Как было бы чудесно стать гувернанткой! Увидеть мир! Начать совсем новую жизнь, самой все решать за себя, дать применение своим пропадающим втуне способностям, испытать свои силы, самой содержать себя, откладывая что-то для папы, мамы и сестры, освободив их от необходимости кормить меня и одевать! Показать папе, чего может достигнуть малютка Агнес! Убедить маму и Мэри, что я вовсе не такая беспомощная и пустоголовая, какой они меня считают! Мне доверят заботиться о детях, учить их и воспитывать – как это чудесно! Вопреки всем возражениям, я не сомневалась, что такая задача мне по плечу: ясные воспоминания о мо-

их, собственных детских мыслях и чувствах послужат мне куда более надежной опорой, чем наставления самого зрелого советчика. Стоит только вообразить себя на месте моих маленьких учениц, и я сразу пойму, как завоевать их доверие и привязанность, как пробудить раскаяние шалуньи, как ободрить застенчивую, как утешить обиженную, как сделать Благодетельство привычкой, Учение – увлекательным занятием, а Религию – понятной и дивной!

...Чудесный долг!

Учить младую мысль, как расцвести!

Лелеять юные деревца и наблюдать, как день за днем разворачиваются их свежие листочки!

И я решила не отступать от своего чарующего плана, хотя страх рассердить маму или огорчить папу вынуждал меня довольно долго хранить молчание. В конце концов я заговорила о нем наедине с мамой и не без труда добилась от нее обещания помочь мне в моих намерениях. Затем с большой неохотой дал свое разрешение папа, и, хотя Мэри все еще неодобрительно вздыхала, моя милая добрая мама начала подыскивать место для меня. Она написала родственникам папы и начала проглядывать объявления в газетах – со своими родственниками она давно уже не поддерживала никаких отношений. После ее замужества связь с ними ограничивалась редким обменом вежливыми письмами, и о том, чтобы обратиться к ним с подобным делом, разумеется, речи быть не могло. Однако мои родители так долго жили вдаль от мира, что прошли месяцы, прежде чем нашлось что-то подходящее. Но наконец, к моей великой радости, мне было предложено взять на себя заботу о птенчиках некой миссис Блумфилд, которую моя добрая чопорная тетюшка Грей, знававшая ее еще совсем молоденькой, аттестовала как очень приятную женщину. Правда, муж ее, торговец, удалившийся от дел, нажив кругленькое состояньице, не желал платить наставнице своих детей больше двадцати пяти фунтов. Я, однако, была рада дать согласие, хотя мои родители полагали, что мне следовало бы отказаться.

Несколько недель пришлось посвятить приготовлениям. Какими длинными, какими скучными показались они мне! Хотя в целом были счастливым временем, полным светлых надежд и пылких ожиданий. С каким удовольствием помогала я шить мой новый гардероб, а потом и укладывать мои сундучки! Впрочем, к последнему уже примешивалась горечь, а когда вещи были уложены и все было готово к моему отъезду наутро, какая страшная тоска вдруг переполнила мне сердце! Мои близкие смотрели на меня так печально и говорили со мной так ласково, что я с трудом сдерживала подступавшие к горлу слезы, но продолжала делать веселый вид. В последний раз я погуляла с Мэри по вересковым склонам, в последний раз обошла садик и дом. Вместе с ней покормила голубей – таких ручных, что они садились нам на ладони, – а когда они вспорхнули мне на колени, я погладила на прощание все их шелковистые головки. Моих же любимцев – пару белоснежных красавцев – нежно поцеловала. Я сыграла последнюю мелодию на стареньком любимом фортепьяно и в последний раз спела папе романс – то есть я надеялась, что не в последний, но до следующего раза было так еще далеко! И как знать, может быть, тогда все это я буду делать с совсем иным чувством: обстоятельства могут измениться, и этот дом уже навсегда останется для меня лишь временным приютом. Моя же киска, моя милая подружка, уж конечно, станет другой. Ведь она и теперь почти взрослая кошка, а к Рождеству, когда я приеду домой погостить, наверное, давно забудет и товарку своих игр, и все свои уморительные проказы. Я в последний раз затеяла с ней возню, а потом сидела, поглаживая ее пушистую шерстку, пока она, помурлыкав, не уснула у меня на коленях – и уж тут мне было трудно скрыть свою грусть. А когда пришло время ложиться и я ушла с Мэри в нашу тихую спальню, где мои ящики и мои полки в книжном шкафу были совсем пустыми – и где Мэри, как она выразилась, теперь предстояло спать в тоскливом одиночестве, – на сердце у меня стало совсем уж тяжело. Мне почудилось, что я поступаю себялюбиво и дурно, покидая ее, и когда я в последний раз опустилась на колени возле нашей кровати, то молилась о ней и наших родителях с незнакомым мне прежде жаром. Чтобы ничем не выдать свои чувства, я спрянула лицо в ладони, и они тут же стали мокрыми от слез. Поднимаясь с колен, я увидела, что Мэри тоже плакала, но мы обе промолчали и только теснее прильнули друг к другу, когда легли, потому что так скоро нас ждала разлука.

Однако утро вновь принесло надежды и бодрость духа. Отъезд был назначен на ранний час, чтобы увозивший меня экипаж (двуколка, нанятая у мистера Смита – суконщика, бакалейщика и

торговца чаем в нашей деревушке) успел вернуться в тот же день. Я встала, умылась, оделась, наспех позавтракала, расцеловалась с папой, мамой и Мэри, поцеловала киску – к большому возмущению Салли, нашей служанки, пожала руку ей, забралась в двуколку, опустила вуаль и тогда – но только тогда! – залилась слезами. Двуколка покатила по дороге. Я оглянулась.

Милая мама и милая Мэри все еще стояли в дверях и махали мне вслед. Я помахала им и от всей души призвала на них благословенье Божье. Но тут мы начали спускаться с холма, и они скрылись из виду.

– Утро-то для вас холодновато, мисс Агнес, – заметил мистер Смит. – Вон и небо хмурится. Ну, да ничего, домчим вас туда, прежде чем дождик припустит как следует.

– Да, конечно, – ответила я, стараясь говорить спокойно.

– Ночью-то сильно лило.

– Да.

– Ну, ветер хоть и холодный, а дождь, пожалуй что, и разгонит.

– Наверное.

На этом наша беседа закончилась. Долина осталась позади, и мы начали подниматься на противоположный склон. Я оглянулась и увидела колокольню, а за ней наш старый серый дом, на который как раз упал солнечный луч. Один-единственный – деревушка и холмы вокруг были в глубокой тени. Я обрадовалась, словно доброму предзнаменованию, и, сложив ладони, вновь призвала благословение на его обитателей, но тут же поспешно отвернулась, потому что луч заскользил прочь, а видеть дом погруженным в угрюмый сумрак мне не хотелось.

Глава II ПЕРВЫЙ УРОК В ИСКУССТВЕ ВОСПИТАНИЯ

Двуколка катила вперед, ко мне вернулась бодрость, и я с удовольствием обратилась мыслями к новой жизни, которая меня ожидала. Но хотя еще только начиналась вторая половина сентября, из-за плотных туч и сильного северо-восточного ветра было очень холодно, и путь казался очень длинным, тем более что, как выразился Смит, дороги были «негодящие». Как и его лошадь – она еле-еле взбиралась по склону, вниз спускалась тихими шажками, а легкой рысцой утруждала себя только, когда дорога была ровной, как стол, или чуть наклонной, что в холмистой местности редкость, а потому до цели мы добрались лишь к часу дня. Едва мы, проехав внушительные чугунные ворота Уэлвуда, плавно покатали по гладкой, хорошо утрамбованной подъездной аллее между зелеными лужайками в купах молодых деревьев и увидели впереди среди платанов новый, но величественный дом, как мне снова стало страшно, и я пожалела, что он не расположен на несколько миль дальше. Впервые в жизни я осталась совсем одна, но отступать было поздно. Я должна войти в этот дом и жить с этих пор среди его неведомых мне обитателей. Но как? Хотя мне уже почти исполнилось девятнадцать, наша уединенная жизнь и ласковые попечения мамы и сестры плохо подготовили меня к этому, и я понимала, что многие девочки пятнадцати лет и даже моложе держались бы на моем месте с куда большей непринужденностью, уверенностью в себе и женским тактом. Впрочем, если миссис Блумфилд добра и радушна, то я как-нибудь справлюсь; с детьми, разумеется, я вскоре буду чувствовать себя совсем свободно, ну, а мистер Блумфилд... оставалось только надеяться, что видеть его я буду редко.

«Будь спокойной, будь спокойной!» – твердила я про себя и с таким усердием выполняла этот совет, так старательно приводила в порядок свои нервы и утишала биение непослушного сердца, что не сразу сообразила ответить на вежливое приветствие миссис Блумфилд, когда меня проводил к ней открывший дверь лакей. А когда, точно во сне, пробормотала несколько слов, голос мой, вспоминала я потом, мог бы принадлежать умирающей. Впрочем, хозяйка дома, как я обнаружила, едва обретя способность что-то понимать, приняла меня довольно холодно. Она оказалась высокой, сухопарой, чопорной дамой с густыми черными волосами, ледяными серыми глазами и очень нездоровым цветом лица.

Однако она достаточно вежливо сама поднялась со мной в мою комнату и оставила там, чтобы я могла привести себя в порядок. Увидев себя в зеркале, я ужаснулась: от холода мои руки по-

краснели и опухли, ветер спутал развившиеся волосы и придал моему лицу лиловатый оттенок. Добавьте к этому, что мой воротничок безобразно измялся, а платье было забрызгано грязью, как и новые ботинки на толстой подошве. Но мои сундучки еще не принесли, и мне оставалось только пригладить волосы, насколько это было возможно, кое-как расправить упрямый воротничок, спуститься, громко топая, по двум лестничным маршам и, утешаясь философскими размышлениями, не без труда отыскать комнату, где меня ожидала миссис Блумфилд.

Она проводила меня в столовую, где стол еще не был убран после семейного второго завтрака. Передо мной поставили тарелку с куском бифштекса и полуостывшим картофелем, и пока я подкрепляла свои силы, миссис Блумфилд, сидя напротив, наблюдала за мной (как мне казалось) и пыталась поддерживать что-то вроде разговора, сухо произнося общепринятые фразы. Но, возможно, вина была моя: у меня просто не было сил разговаривать. По правде говоря, все мое внимание поглощал бифштекс, но не потому, что меня терзал голод – просто он оказался очень жестким, а после пяти часов на холодном ветру руки меня почти не слушались. С какой радостью я ограничилась бы одним картофелем! Но было бы невоспитанным оставить бифштекс нетронутым. После бесчисленных тщетных попыток разрезать его ножом, разорвать вилкой или справиться с ним при помощи обоих этих инструментов – и все под взглядом грозной дамы напротив – я в отчаянии зажала нож и вилку в кулачках, точно двухлетний ребенок, и пустила в ход последние оставшиеся у меня силы. Сознывая, что мне следует как-то оправдаться, я испустила слабый смешок и сказала:

– Руки у меня так окостенели от холода, что мне даже трудно держать нож и вилку.

– Да, погода сегодня довольно холодная, – ответила она с ледяной невозмутимостью, которая отнюдь меня не ободрила.

Когда церемония завершилась, миссис Блумфилд увела меня в гостиную и послала за детьми.

– Вы, вероятно, найдете их знания несколько недостаточными, – сказала она. – Но у меня почти нет времени самой заниматься с ними, а для гувернантки они были, по нашему мнению, еще малы. Однако, мне кажется, они умны и очень понятливы, особенно мальчик. Право же, он украшение любой детской – благородный, с возвышенной душой. Им следует руководить, но не командовать. Нет, он просто удивителен! Всегда говорит правду и презирует всякий обман. («Прекрасно!» – подумала я.) Его сестра, Мэри Энн, – продолжала миссис Блумфилд, – требует внимательного наблюдения, но тоже очень хорошая девочка. Только я желала бы, чтобы она как можно реже бывала в детской. Ей ведь уже почти шесть лет, и она может перенять у няньки дурные привычки. Я распорядилась, чтобы ее кроватку поставили к вам в комнату, и, если вы будете столь любезны, что сами станете следить за ее умыванием, одеванием и одеждой, она обойдется совсем без няньки.

Я ответила, что с удовольствием возьму все это на себя, и тут в комнату вошли мои ученики в сопровождении младших сестричек. Мастер Том Блумфилд оказался рослым семилетним крепышом с льняными волосами, голубыми глазами, курносым носом и розовыми щеками. Мэри Энн тоже отличалась высоким для своего возраста ростом. Она унаследовала темные волосы матери, но лицо у нее было круглым и румяным. Фанни, ее младшая сестра, показалась мне очень хорошенькой. Миссис Блумфилд объяснила, что она очень кроткий ребенок и нуждается в ободрении. Она еще ничему не училась, но на днях ей исполняется четыре года, и тогда ей придет пора браться за азбуку и заниматься в классной комнате. Самая младшая, Харриет, толстенькая, веселая, ласковая двухлетняя крошка, обворожила меня больше остальных – но она оставалась на попечении няни.

Я заговорила с моими маленькими учениками как могла приветливее и попыталась им понравиться, но, боюсь, без особого успеха, так как присутствие их маменьки очень меня стесняло. Они же, напротив, были на удивление лишены застенчивости и казались бойкими, живыми детьми. Я от души надеялась, что скоро завоюю их симпатии – особенно мальчика, которого мать представила в таком привлекательном свете. В Мэри Энн я с сожалением заметила неприятное кокетство, желание привлекать к себе внимание. Но мной всецело завладел ее брат. Заложив руки за спину, он стоял между мной и огнем и рассуждал, как заправский оратор, иногда отвлекаясь от

темы, чтобы прикрикнуть на сестер, если они пытались его перебить.

– Ах, Том, душечка! – воскликнула его маменька. – Подойди, поцелуй мамочку, а потом, не хочешь ли ты показать мисс Грей свою классную комнату и свои хорошенькие новые книжки?

– Целовать тебя, мама, я не хочу, но я покажу мисс Грей мою классную комнату и мои новые книжки.

– И мою классную комнату, и мои новые книжки, Том, – вмешалась Мэри Энн. – Они тоже мои, мои!

– Нет, мои, – ответил он решительно. – Идемте, мисс Грей. Я вас провожу.

Когда комната и книжки были показаны под перепалку между братом и сестрой, продолжавшуюся несмотря на мои усилия положить ей конец, Мэри Энн принесла показать мне свою куклу и начала подробно рассказывать, какие у кукол красивые платица, какая кровать, какой комодик и еще всякие разные вещи. Однако Том скоро приказал, чтобы она перестала трещать – мисс Грей должна посмотреть его коня, которого он с важным видом притащил из угла, громогласно требуя моего внимания. Велев сестре подержать поводья, он взгромоздился на коня и заставил меня десять минут смотреть, как он качается, не жалея хлыста и шпор, точно лихой кавалерист. Впрочем, я ухитрилась одновременно полюбоваться куколкой Мэри Энн и всеми ее платицами, а потом сказала мастеру Тому, что он отличный наездник, но я надеюсь, что, катаясь на живом пони, он не будет так жестоко хлестать его и шпорить.

– Обязательно буду! – ответил он, удваивая усилия. – Я его хорошенько отделаю. И-их! Он у меня попотеет, слово благородного человека!

Меня его ответ неприятно поразил, но я с надеждой подумала, что со временем сумею пробудить в нем добрые чувства.

– А теперь надевайте шляпку и шаль! – распорядился юный герой. – Я покажу вам мой садик.

– И мой! – крикнула Мэри Энн.

Том угрожающе занес кулак, девочка громко взвизгнула, убежала в другой конец комнаты и показала братцу язык.

– Но, Том, ты же, конечно, не ударишь свою сестричку! Надеюсь, мне ничего подобного видеть не придется.

– Нет, придется. Иногда. Я же должен следить, чтобы она хорошо себя вела.

– Но ведь следить за этим не твое дело, а...

– Идите наденьте шляпку!

– Право же... погода такая холодная, пасмурная. Вот-вот начнется дождь... И ты знаешь, я ехала так долго...

– Ну и пусть, а пойти вы должны: никаких извинений я не приму, – ответил высокомерный маленький джентльмен.

В честь первого дня нашего знакомства я решила уступить его прихоти. Мэри Энн выходить на такой холод было никак нельзя, и она осталась с любящей маменькой – к большому удовольствию ее брата, который не желал делить мое внимание ни с кем другим.

Сад оказался обширным и устроенным с большим вкусом. Еще цвели великолепные георгины и некоторые другие поздние цветы, но мой маленький спутник не дал мне времени полюбоваться ими, а потащил по мокрой траве в дальний отгороженный угол, самое замечательное место здесь, ибо там находился его собственный садик. Я увидела две круглые клумбы с разными растениями – в середине одной поднималось прелестное розовое деревце – и остановилась взглянуть на чудесные розы.

– Да идите же! – сказал мастер Том с невыразимым презрением. – Это всего только сад Мэри Энн. А вот МОЙ!

После того как я рассмотрела там каждый цветок и выслушала лекцию о каждом растении, мне было разрешено удалиться. Но прежде он величественно сорвал астру и вручил ее мне, словно удостоивая меня великой чести. Тут я, заметив в траве какие-то сооружения из палочек и шнурков, спросила, что это такое.

– Силки для птиц.

– Но для чего ты их ловишь?

– Папа говорит, что они вредные.

– А что ты с ними делаешь, когда поймал?

– Всякое. Иногда скормливаю кошке, иногда режу на кусочки моим перочинным ножиком. А вот следующую поджарю живьем.

– Но почему ты придумал такую ужасную вещь?

– Ну, я хочу поглядеть, сколько времени она проживет. А потом попробовать, какой у нее вкус.

– Но разве ты не знаешь, что поступать так дурно? Вспомни, птички ведь чувствуют боль так же, как и ты. Неужели тебе понравилось бы оказаться на их месте?

– Подумаешь! Я ведь не птица. И что бы я с ними ни делал, сам я ничего не чувствую.

– Но и тебе придется когда-нибудь это почувствовать, Том! Ты же знаешь, куда попадают дурные люди, когда умирают. И если ты не перестанешь мучить бедных, ни в чем не повинных птичек, то попадешь туда и будешь страдать, как заставлял страдать их!

– А вот и нет! Никуда я не попаду. Папа знает, что я с ними делаю, и никогда меня за это не бранит. Он говорит, что тоже их ловил, когда был маленьким. А летом он принес мне гнездо с воробьятами и смотрел, как я отрывал у них ноги, крылышки и головы, и сказал только, что они мерзкие твари и чтобы я не запачкал панталон. А дядя Робсон тоже смотрел, и засмеялся, и сказал, что я молодец.

– Но что сказала бы твоя мама?

– А ей все равно! Она говорит, что красивых певчих птичек убивать жаль, но с гадкими воробьями, мышами и крысами я могу делать что хочу. Вот видите, мисс Грей, ничего дурного тут нет!

– А по-моему, есть, Том. И полагаю, что твои папа и мама по размышлении согласились бы со мной.

Мысленно же прибавила: «Пусть они говорят, что хотят, но пока ты под моим присмотром, я ничего подобного не допущу!»

Потом он потащил меня через лужайку посмотреть свои ловушки на кротов, а оттуда на задний двор посмотреть ловушки на ласок, в одной из которых, к вящему его восторгу, оказался мертвый зверек, и дальше на конюшню посмотреть – нет, не выездных лошадей, а маленького косматого конька. Это его лошадь, сообщил он мне, и он начнет ездить на ней, как только ее научат ходить под седлом. Я старалась доставить удовольствие мальчугану и слушала его болтовню со всем возможным терпением, так как решила завоевать его привязанность, если только он способен к кому-нибудь привязаться. А вот тогда со временем я сумею помочь ему исправиться. Однако я тщетно старалась обнаружить ту благородную, возвышенную душу, о которой говорила его маменька, хотя ему нельзя было отказать в известной живости ума и сообразительности, когда ему было угодно ими похвастать.

Мы вернулись в дом перед самым чаем. Мастер Том сообщил мне, что папа в отъезде, а потому они с Мэри Энн будут пить чай с мамой. Она всегда устраивает им такой праздник и вместо второго завтрака обедает с ними, а не в шесть часов. Вскоре после чая Мэри Энн отправилась спать, но Том развлекал нас своим обществом и беседой до восьми. Когда он наконец удалился, миссис Блумфилд вновь принялась просвещать меня, подробно описывая особенности характера своих деток и их редкие способности, объясняла, чему их следует учить и как с ними обращаться, а в заключение предупредила, чтобы об их провинностях я ни с кем, кроме нее, не говорила. Но я вспомнила совет мамы, как можно реже сообщать о них именно ей – ведь люди не любят, когда им указывают на дурные черты или нехорошие поступки их детей, а потому решила, что обо всем подобном мне следует хранить полное молчание.

Примерно в половине девятого миссис Блумфилд пригласила меня разделить с ней скудный ужин из холодного мяса с хлебом, а после чего взяла свечу и удалилась к себе в спальню, к большой моей радости, потому что, как я ни боролась с собой, ее общество чрезвычайно меня угнетало, и я волей-неволей пришла к выводу, что она холодна, строга и чванлива – то есть полная противоположность той доброй, ласковой и снисходительной матери семейства, какой я с надеждой

рисовала ее в своем воображении.

Глава III ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО УРОКОВ

На следующий день, вопреки уже пережитым разочарованиям, я встала полная радостных предвкушений, но тут же убедилась, что одевать Мэри Энн – обязанность не из легких: ее густые волосы требовалось расчесать, напудрить, заплести в три длинные косички и завязать банты. Мои непривычные пальцы справлялись со всем этим очень неловко, и она заявила, что няня причесала бы ее вдвое быстрее, и так вертелась и ерзала от нетерпения, что я и вовсе перестала справляться. Но всему приходит конец, и мы спустились в классную комнату, где нас уже ждал мой ученик, и я поболтала с ними, пока не настало время идти в столовую завтракать. Когда завтрак был кончен и мы с миссис Блумфилд обменялись несколькими вежливыми фразами, я увела детей наверх, чтобы начать занятия. Они оказались очень неразвитыми, хотя Том вовсе не был лишен способностей. Но напрягать их он решительно не любил. Мэри Энн не умела прочесть самые простые слова и была так рассеянна и невнимательна, что мне не удавалось ничего ей втолковать. Однако ценой огромных усилий и терпения к концу утра я добилась кое-каких успехов и отправилась с моими юными питомцами в сад погулять перед обедом. Там мы неплохо ладили, хотя сразу же выяснилось, что не я их веду, куда считаю нужным, а они тащат меня, куда заблагорассудится им. Мне полагалось стоять, ходить, бежать, как того хотели они. Разумеется, я считала, что все должно быть как раз наоборот, тем более, как я постоянно убеждалась, и в этот раз, и в следующие, их особенно влекли самые грязные места и самые глупые развлечения. В первый день особой приманкой для них был родник у дальнего края лужайки – около полудня они швыряли в него камешки и били по воде палками. Меня терзал страх, что их маменька выглянет в окно и разгневется на меня за то, что я допустила, чтобы они вымазались в грязи, промочили ноги и намочили рукава, тогда как им следовало чинно гулять по дорожкам. Однако никакими доводами, приказаниями и мольбами увести их оттуда не удавалось. Она, правда, их не увидела, зато их увидел джентльмен, который верхом на лошади въехал в ворота и направился к дому. Приблизившись к нам, он сдержал лошадь и сердитым, въедливым голосом приказал детям «держаться от воды подальше!».

– Мисс Грей! Вы ведь мисс Грей? Я удивлен, что вы допустили, чтобы они так перепачкались! Или вы не видите, как мисс Блумфилд изгадила свое платье? И что носки мастера Блумфилда мокры насквозь? И что они не надели перчаток? Гм-гм! Не будете ли вы так добры впредь следить, чтобы у них был хотя бы пристойный вид!

И, отвернувшись, он затрусил дальше. Это был мистер Блумфилд. Меня удивило; что своих детишек он величает «мисс Блумфилд» и «мастер Блумфилд», – а еще больше, что он говорил столь невежливо со мной, их гувернанткой которую увидел впервые в жизни. Вскоре звон обеденного колокола призвал нас в дом. В час дня я обедала с детьми, а мистер Блумфилд и его супруга за тем же столом вкушали второй завтрак. Поведение хозяина дома и тут не слишком подняло его в моих глазах. Лет тридцати пяти, годом больше, годом меньше, роста он был среднего, скорее даже ниже среднего, и скорее худощав, чем дороден. Его отличали широкий рот, бледный землистый цвет лица, водянисто-голубые глаза и волосы цвета пакли. Перед ним стояла жареная баранья нога, и он отрезал по куску миссис Блумфилд, детям и мне, выразив желание, чтобы я измельчила порцию мастера Блумфилда и мисс Блумфилд. Затем, осмотрев жаркое и так и эдак, и сверху и сбоку, он объявил, что есть его невозможно, и потребовал для себя холодной говядины.

– Чем вам не угодила баранина, дорогой? – осведомилась спутница его жизни.

– Пережарена. Неужели вы не заметили, что никакой сочности в ней не осталось? И неужели вы не видите, что подлива совсем высохла?

– Что же, полагаю, говядиной вы останетесь довольны.

Перед ним поставили говядину, и он взял нож, но с крайним неудовольствием.

– Чем вам не угодила говядина, мистер Блумфилд? Право, мне она показалась очень недурной.

– Она и была недурной. Кусок отличный, но он совершенно изуродован, – скорбно ответил мистер Блумфилд.

– Каким образом?

– Каким образом? Неужели вы не видите, как он искромсан? Гм-гм! Возмутительно!

– Значит, на кухне его резали не так. Вчера я разрежала его как полагается.

– Ну, разумеется, искромсали его на кухне – варвары! Гм-гм! Был ли когда-нибудь такой великолепный кусок говядины настолько погублен? Потрудитесь в будущем позаботиться, чтобы на кухне не смели прикасаться к кушанью, убранному со стола почти нетронутым. Позаботьтесь об этом, миссис Блумфилд!

Но и от погубленного куска хозяин дома сумел отрезать себе несколько аппетитных ломтиков, половину которых уничтожил в молчании. А затем уже менее ворчливым тоном осведомился, что будет на обед.

– Индейка и рябчики, – последовал исчерпывающий ответ.

– А что еще?

– Рыба.

– Какая рыба?

– Не знаю.

– *Не знаете?* – вскричал он, поднимая мрачный взгляд от тарелки. Нож и вилка изумленно повисли в воздухе.

– Нет. Я велела повару приготовить рыбу, но не назвала, какую именно.

– Нет, вы только подумайте! Хозяйка дома даже не знает, *И* какая рыба готовится для обеда! Заказывает рыбу – и не называет, какую именно!

– Может быть, мистер Блумфилд, в будущем вы будете заказывать себе обед сами?

На этом разговор завершился, и я с радостью увела моих учеников из столовой. Никогда в жизни мне не было так стыдно и неловко не за себя, а за других.

Днем мы снова занялись уроками, а потом снова вышли погулять, потом пили чай в классной комнате, потом я передела Мэри Энн и, когда они с братцем спустились в столовую покушать десерт, воспользовалась случаем сесть за письмо домой. Но дети вернулись прежде, чем я написала хотя бы половину. В семь я должна была уложить Мэри Энн, потом до восьми играла с Томом, а когда и он ушел спать, кончила письмо, наконец-то распаковала мои сундучки, до которых прежде у меня не доходили руки, и легла сама.

Но это еще был очень удачный день.

Мои обязанности учить и следить за поведением не только не стали легче, когда мои питомцы и я свыклись друг с другом, но, напротив, делались все тяжелее по мере того, как раскрывались их характеры. Вскоре я убедилась, что гувернантка я только по названию: мои ученики умели слушаться не больше, чем дикие необъезженные жеребья. Страх перед кислой придирчивостью отца и наказаниями, на которые он не скупился в минуты раздражения, заставлял их сдерживаться в его присутствии. Девочки побаивались матери, а с Томом ей иногда удавалось сладить, обещав ему что-нибудь приятное. Мне же нечего было обещать, а что до наказаний, родители дали ясно понять, что это право они оставляют за собой – и еще они ждали, что я научу детей вести себя примерно! Есть дети, которые не любят, чтобы на них сердились, и ищут одобрения, но юные Блумфилды ни к порицаниям, ни к похвалам чувствительны не были.

Мастер Том не просто не желал слушаться, он требовал, чтобы слушались его, и весьма решительно старался держать в узде не только сестренку, но и гувернантку, с помощью рукоприкладства и ногоприкладства, а так как для своих лет он был высоким и сильным, то поползновения эти причиняли мне немало хлопот. Две-три оплеухи в такую минуту могли бы привести все к счастливой развязке, но в таком случае он напел бы своей маменьке неизвестно что, а она бы свято ему поверила, ибо не допускала ни малейших сомнений в его правдивости – хотя и совершенно напрасно, как я уже не раз имела случай убедиться. Вот почему я твердо решила не поднимать на него руки, даже защищаясь, и, когда он особенно расхотелся, у меня оставался только один выход – опрокинуть его на спину и держать за руки и за ноги, пока он немного не успокаивался. К трудной задаче не допускать, чтобы он делал то, чего не следует, добавлялась другая, не менее трудная

– заставить его делать то, что следовало. Часто он наотрез отказывался слушать, или повторять урок, или хотя бы просто смотреть на страницу. И тут крепкая розга принесла бы немалую пользу. Но я должна была изыскивать способы, как лучше распорядиться крайне скудными средствами принуждения, какие мне не возбранились.

Точные часы для занятий и игр нам не назначили, и я решила, что буду давать моим ученикам по небольшому заданию, выполнение которого при достаточном прилежании не могло занять много времени, – но уж пока оно не будет выполнено, из классной комнаты я их не выпущу, как бы ни была я измучена, как бы они ни упрямылись. Пусть даже мне придется придвинуть мой стул к двери! Только прямое вмешательство родителей заставит меня отступить от этого правила! Мое единственное оружие – Терпение, Твердость и Настойчивость, и уж ими я воспользуюсь во всю меру! Всякую угрозу, всякое обещание следует выполнять неукоснительно, и, значит, следить, чтобы они всегда были исполнимы. Я не позволю себе давать волю раздражению или вымещать на них свое дурное расположение духа. Если в какой-нибудь день они не станут капризничать и упрямыться, я буду с ними особенно доброй и ласковой, чтобы они почувствовали разницу между плохим и хорошим поведением. И я попробую их увещевать – самыми простыми и понятными словами.

Бранить или отказывать в каком-нибудь удовольствии за гадкий поступок я буду с грустью, а не сурово. Молитвы и подходящие для детей духовные гимны я старательно им растолкую, а когда они будут молиться на сон грядущий и просить прощения у Боженьки, я напомню им об их грехах за прошедший день – очень серьезно, но без малейшего упрека, чтобы не пробудить злого чувства. Провинившийся должен будет петь гимн со словами раскаяния, радостный же гимн будет наградой за послушание. Обучать же их я попробую в живой беседе, словно просто желая их развлечь.

Вот как я надеялась со временем принести пользу детям и заслужить одобрение их родителей, а также убедить всех моих домашних, что я вовсе не такая легкомысленная неумеха, как они считали. Я понимала, что меня ждут большие трудности, но я знала (а точнее, верила), что терпеливая настойчивость их превозможет, о чем молилась ежеутренне и ежевечерне. Но либо дети были неисправимы, а их родители неразумны, либо я не сумела претворить мои замыслы на деле, либо они никуда не годились, но как бы то ни было, самые лучшие мои намерения и все мои усилия не приводили ни к чему: дети делали все наперекор мне, их родители были недовольны, а я совсем измучилась.

Обучение оказалось утомительной задачей не только для духа, но и для тела. Я бегала за своими учениками, хватала их, тащила или несла на руках к столу и нередко силком их там удерживала, пока они не выучивали заданного урока. Тома я часто ставила в угол и загораживала ему выход стулом, на котором сидела, держа перед ним открытую книжку с маленьким уроком, который он должен был прочесть или заучить прежде, чем я отодвину стул. У него не хватало силенок оттолкнуть стул вместе со мной, и он извивался всем телом, строил страшные гримасы, возможно, смешные на взгляд постороннего наблюдателя, но несколько меня не смехившие, и выпускал громкие вопли и жалобные всхлипывания, изображая плач – но без сопровождения слез. Я понимала, что он просто хочет вывести меня из себя, и, внутренне дрожа от злости и нетерпения, изо всех сил изображала равнодушное спокойствие, ожидая, когда ему надоест ломаться и он заслужит право убежать в сад, прочитав или повторив несколько слов, не занимавших в книге и строки. Иногда он старательно писал плохо, и мне приходилось водить его рукой, чтобы он нарочно не сажал кляксы и не рвал бумагу. Часто я грозила дать ему написать еще строчку, если он не закончит эту как следует. Тогда он вообще отказывался писать дальше, и я, чтобы сдержать слово, прижимала его пальцы к перу и водила им по бумаге, пока строчка кое-как не завершалась.

Однако Том хотя бы иногда, к великой моей радости, решал, что ему же будет лучше, если он побыстрее сделает урок и будет играть в саду, пока я не приведу туда и Мэри Энн. Но последнее случалось далеко не всегда, так как Мэри Энн редко следовала его благому примеру. Видимо, больше всего ей нравилось валяться на полу, и она соскальзывала со стула, как свинцовая гиря. Когда же я с большим трудом водворяла ее обратно, мне приходилось крепко держать ее одной рукой, а другой подносить к ее лицу книжку. Когда рука изнемогала под весом обмякшей шести-

летней толстушки, я ее меняла или же относил Мэри Энн в угол и говорила, что она может из него выйти, когда снова научится ходить и встанет на ноги. Но она чаще предпочитала лежать там бревном до обеда или чая, а уж тогда мне приходилось отменять свой запрет, потому что лишить ее еды я не смела, и она выползала из угла на четвереньках, а ее краснощекая физиономия сияла злорадным торжеством. Обычно она упрямо отказывалась произнести то или иное слово в заданном уроке, и – теперь я сожалею о моих напрасных усилиях возобладать над ее упрямством. Для нас обеих было бы лучше, если бы я делала вид, что это совершеннейший пустяк, вместо того чтобы бесплодно настаивать на своем. Но я считала себя обязанной подавить столь вредную склонность в самом зародыше. Бесспорно, сделать это следовало, будь я в силах. И, наверное, мне удалось бы добиться послушания, если бы у меня были на то средства. Но при существующем положении вещей мы обе просто выжидали, кто возьмет верх, и очень часто он оставался за ней. А каждая новая победа словно укрепляла ее в желании добиваться все новых и новых. Тщетно я уговаривала, улещивала, упрашивала, угрожала, бранила. Тщетно я не разрешала ей играть, а если мы все-таки должны были отправиться на прогулку, отказывалась играть с ней, или ласково разговаривать, или отвечать ей. Тщетно я старалась показать, что послушных девочек любят и ласкают, а ее глупое упрямство приносит ей одни неприятности.

Порой, когда она просила меня о чем-нибудь, я отвечала:

– Хорошо, Мэри Энн, но только если ты скажешь это слово. Ну-ка, ну-ка! Вот скажешь и все будет хорошо.

– Не скажу.

– Ну, тогда я для тебя ничего делать не буду.

Для меня в ее возрасте, да и раньше, не было страшнее наказания, если со мной переставали разговаривать или называли плохой девочкой, но ее это ничуть не трогало. Иногда, совсем выведенная из терпения, я сильно встряхивала ее за плечи, дергала за косичку или ставила в угол, а она карала меня громким, пронзительным визгом, вонзавшимся мне в уши, как нож. Она знала, что я этого не выношу, и, навизжавшись вдоволь, поглядывала на меня с мстительным удовлетворением, вопила: «Вот вам!» и снова принималась визжать, пока я не выдерживала и не затыкала уши. Часто на ее жуткие вопли являлась миссис Блумфилд узнать, что случилось.

– Мэри Энн плохо ведет себя, сударыня.

– Но что означает этот невыносимый крик?

– Она раскапризничалась.

– Ничего подобного я в жизни не слышала. Нет, вы просто ее убивали! И почему она не в саду с братцем?

– Я не могу заставить ее ответить урок.

– Мэри Энн должна быть хорошей девочкой и ответить урок, – ласково наставляла маменька. – Но надеюсь, больше мне не придется слышать такого ужасного крика.

И, смерив меня холодным взглядом, истолковать который можно было только одним образом, она удалялась, закрыв за собой дверь.

Иногда я пыталась захватить гадкую упрямицу врасплох и небрежно спрашивала у нее роковое слово, когда она думала о чем-нибудь другом. И она начинала его произносить, но вдруг спохватывалась и бросала на меня хитренький взгляд, говоривший: «Ага! Не поймаешь! Ни за что не скажу!»

Как-то раз я сделала вид, будто забыла про все, разговаривала и играла с ней, как обычно, а вечером, когда уложила ее и нагнулась к ее улыбающемуся довольному личику, сказала весело и ласково:

– Ну, Мэри Энн, скажи мне это слово, и я поцелую тебя на ночь. Сейчас ты очень хорошая девочка и, конечно, скажешь его.

– Не скажу.

– Тогда я тебя не поцелую.

– А мне все равно.

Напрасно я огорчалась вслух, напрасно ждала хоть малейших признаков раскаяния, но и когда ушла, оставив ее одну в темноте, это бессмысленное упрямство продолжало меня терзать. Са-

ма я в детстве не могла вообразить кары ужаснее, чем отказ мамы поцеловать меня на сон грядущий. Об этом и помыслить было страшно. Впрочем, дальше воображения дело не пошло: к счастью, я ни разу не совершила проступка подобной тяжести. Но я помнила, как за какое-то прегрешение сестры мама не поцеловала ее – не знаю, что испытывала Мэри, но свои сочувственные слезы и болезненную жалость к ней я забуду не скоро.

Много мучений доставляла мне и неисправимая склонность Мэри Энн убежать в детскую и играть там с младшими сестрами и нянькой, что было вполне понятно. Но, повинаясь прямо высказанному желанию миссис Блумфилд, я запрещала ей это и всячески старалась держать ее при себе, чем, разумеется, лишь подливала масло в огонь. Чем настойчивее пыталась я не допускать ее в детскую, тем чаще она ускользала туда и тем дольше там оставалась – к великому неудовольствию миссис Блумфилд, которая, как я прекрасно знала, возлагала всю вину на меня. Тяжким испытанием была и процедура утреннего одевания. То Мэри Энн не желала умываться, то кидала на пол платье, требуя другое – которое, как я знала, не нравилось ее маменьке, или с визгом убегала, едва я притрагивалась к ее волосам. И часто, когда после долгих усилий я наконец умудрялась привести ее в столовую, завтрак уже почти кончался, и мне приходилось терпеть негодующие взгляды маменьки, а также сердитые замечания папеньки по моему адресу, хотя и не обращенные прямо ко мне, – он особенно не терпел подобных нарушений пунктуальности. В довершение миссис Блумфилд сердило, что я не умею одеть девочку, а на ее волосы «смотреть неприлично». Иногда она, чтобы выразить мне свое неудовольствие, брала на себя роль камеристки, а потом горько сетовала, что ее вынуждают так затрудняться.

Когда в классную комнату пришла маленькая Фанни, я обрадовалась, что хоть в ней найду послушную и кроткую ученицу, но не понадобилось и двух-трех дней, если не двух-трех часов, чтобы эта иллюзия рассеялась. Она оказалась неисправимой и злокозненной лгуньей, уже умевшей хитрить и обманывать, а, кроме того, при каждом удобном случае пускала в ход два своих любимых способа обороны и наступления – плевала в лицо тем, кто навлекал на себя ее гнев, и ревела во весь голос, если ей в чем-нибудь отказывали – пусть и в самом неразумном. Однако при родителях она вела себя тихо, и они считали ее на редкость милой девочкой, свято верили ее лжи, а громкий рев приписывали моему суровому и несправедливому с ней обращению. Когда же ее дурные склонности стали явными даже для их предубежденного взора, вину в своем разочаровании они возложили на меня.

– Какой непослушной сделалась Фанни! – замечала миссис Блумфилд своему супругу. – Вы обратили внимание, дорогой, как она изменилась с тех пор, как начала учиться? Вскоре она станет такой же, как старшие, а они, мне жаль сказать, совсем испортились.

– Верно-верно, – отвечал супруг. – Я совершенно согласен. Я полагал, если мы возьмем им гувернантку, они образумятся, но они становятся все хуже и хуже. Не знаю, чему они научились, но их поведение ничуть не улучшилось. Наоборот, с каждым днем они становятся все распушеннее, грубее и грязнее.

Я понимала, что говорится это в назидание мне, и подобные намеки ранили меня гораздо глубже любых прямых упреков, так как лишали возможности защищаться. И мне оставалось только подавлять любое желание возразить, прятать обиды и продолжать делать все, что было в моих силах – ведь я не хотела терять своего места, несмотря ни на что. Мне надо только сохранять твердость и настойчивость, и дети со временем, конечно же, станут лучше. С каждым месяцем они будут чему-то учиться, а значит, ими будет легче руководить. Ведь десятилетний ребенок такой же несдержанный и своевольный, как эти в свои шесть-семь лет, может быть только сумасшедшим.

Я утешалась мыслью, что, оставаясь здесь, я помогаю родителям и сестре. Как ни мало было мое жалованье, я все-таки что-то зарабатывала и, экономя во всем, могла даже кое-что уделить им – лишь бы они согласились взять! Кроме того, гувернанткой я стала по собственному настоянию и все эти испытания навлекла на себя сама, а потому была исполнена решимости выдержать их. И я даже не жалела ни о чем: я все еще жаждала показать моим близким, что справлюсь со взятыми на себя обязанностями, и справлюсь с честью. Если же мне станет невыносимо сносить безмолвно унижения и надрываться без минуты отдыха, я погляжу в сторону родного дома и скажу себе:

Пусть сокрушат, но дух мой не сломить!
Все помыслы мои – тебе, не им.

На Рождество мне было разрешено съездить домой, но всего на две недели.

– Вы же, – сказала миссис Блумфилд – еще так недавно видели своих близких, что я подумала, вам вряд ли захочется остаться там дольше.

Я не стала ее разуверять, но откуда ей было знать, какими долгими, какими тяжкими показались мне эти три с половиной месяца разлуки? Как я ждала моего отпуска и как горько было мне такое его сокращение! Но винить ее не приходилось. Я ведь не открывала ей свои чувства, так откуда же она могла о них догадаться? Пробыла я у них неполных полгода, и она имела право урезать мой отпуск.

Глава IV БАБУШКА

Избавлю читателей от описания моих восторгов, когда я вернулась под отчий кров, моего счастливого пребывания там, наслаждения кратким отдыхом и свободой в милом, знакомом доме среди любящих и любимых людей – и горя, когда мне вновь пришлось надолго с ними проститься.

Однако я вернулась к своим обязанностям с неугасшим пылом – в должной мере оценить это могут лишь те, кому довелось испытать на себе, что это значит учить и воспитывать буйных, злокозненных неслухов, которые вопреки всем вашим усилиям не делают того, что должны, а вы отвечаете за их поведение перед высшими, властями, лишаящими вас и помощи, и средств исполнять их же требования, то ли по лености, то ли из страха восстановить против себя вышеупомянутых неслухов. Трудно придумать более мучительное положение: как бы вы ни стремились к успеху, как бы ни старались исполнять свой долг, все ваши усилия сводятся на нет теми, кто вам подчинен, и несправедливо критикуются и обсуждаются теми, кому подчинены вы.

Я ведь не перечислила и половины дурных наклонностей моих учеников и неприятностей, сопряженных с моими многочисленными обязанностями, из опасения, что я уже и так слишком злоупотребила вниманием моих читателей. Однако эти последние страницы писались не для того, чтобы развлечь и позабавить, а чтобы принести пользу тем, кого все это может живо интересовать. Остальные же, вероятно, просто бегло их пролистали, быть может, выбрав словоохотливость автора. Однако если отец или мать семейства что-то почерпнули отсюда для себя или злополучная гувернантка нашла их полезными, я уже достаточно вознаграждена за свой труд.

Во избежание лишней путаницы я описывала моих учеников и особенности их характеров отдельно и по очереди, что не дает ни малейшего представления о том, каково было утихомиривать всех троих разом, и особенно когда они в очередной раз сговаривались «быть плохими и не слушаться мисс Грей, чтобы она злилась».

Порой в такие минуты я думала: «Если бы они могли увидеть меня сейчас?», подразумевая, конечно, моих домашних, и при мысли об их жалости я так себя жалела, что еле скрывала слезы. И все-таки скрывала, пока мои маленькие мучители не спускались в столовую к десерту или не ложились спать – единственное время, когда я бывала избавлена от них, и вот в блаженном одиночестве я позволяла себе роскошь безудержно разрыдаться. Но этой слабости я уступала редко – слишком много было у меня обязанностей, слишком драгоценными были минуты редкого досуга, чтобы тратить их на бесплодные сетования.

Особенно мне запомнился один хмурый снежный день в январе вскоре после моего возвращения. Дети поднялись после обеда в классную комнату, громко возвещая о своем намерении «быть плохими», и выполнили его, хотя я охрипла и надорвала горло в тщетном старании уговорить их вести себя хорошо. Тома я заперла стулом в углу, сказав, что он не выйдет оттуда, пока не выучит урок. Тем временем Фанни, завладев моей рабочей корзинкой, рылась в ней и плевала внутрь. Я велела ей оставить корзинку в покое, но, конечно, она и внимания на мои слова не обратила.

– Сожги ее, Фанни! – скомандовал Том, и его приказание она, разумеется, поторопилась выполнить.

Я кинулась к камину спасать корзинку, а Том оттолкнул стул и побежал к двери с криком:

– Мэри Энн, выкини ее ящик в окно!

И моя драгоценная шкатулка со всеми моими письмами, бумагами, скудными наличными и скромными украшениями чуть было не полетела вниз с третьего этажа. Я бросилась ей на выручку, а Том уже катился кубарем по лестнице в сопровождении Фанни. Поставив шкатулку повыше, я поспешила в погоню. Мэри Энн последовала за мной. Схватить их мне не удалось, все трое выскочили в сад и с торжествующими воплями принялись барахтаться в снегу.

Что мне было делать? Попробовать схватить их? Они, конечно, увернутся и убегут еще дальше от дома. Но иначе как мне заставить их вернуться? И что подумают обо мне их родители, если увидят или услышат, что их дети без шляп, без перчаток, без сапожек возятся в глубоком, мягком сугробе? Я продолжала стоять на пороге, пытаюсь строгими взглядами и сердитыми окриками заставить их подчиниться, и тут услышала за спиной вѣдливый голос:

– Мисс Грей! Что здесь происходит? О чем, черт побери, вы думаете?

– Они не хотят возвращаться в дом, – сказала я и, обернувшись, узрела мистера Блумфилда. Его водянисто-голубые глаза выпучились, а волосы стояли дыбом.

– Но я требую, чтобы они немедленно вернулись! – крикнул он, подходя к двери с самым свирепым видом.

– В таком случае, сэр, не позовете ли вы их сами, потому что меня они не слушаются, – ответила я, отступая.

– Домой, паршивцы, не то я вас всех высеку! – взревел папенька, и они тотчас подчинились. – Ну, вот видите? Достаточно было одного слова!

– Да, от вас!

– По меньшей мере странно, что вы не в состоянии с ними сладить, хотя они поручены вашим заботам! Но где же они? Удрали наверх, даже снега с себя не отряхнули! Да идите же за ними, приведите их в пристойный вид, ради всего святого!

В доме тогда гостила его матушка, и, поднимаясь по лестнице мимо гостиной, я имела удовольствие услышать, как старуха громко втолковывает невестке (до меня доносились лишь обрывки фраз):

– Спаси и помилуй!.. никогда в жизни!.. насмерть простудились!... Милочка, а вы уверены, что эта особа?.. Помяните мое слово...

Больше я ничего не услышала, но и этого было вполне достаточно.

Старшая миссис Блумфилд все время была со мной очень внимательна и обходительна и казалась мне приветливой, добросердечной, хотя и слишком разговорчивой старушкой. Она часто заглядывала ко мне в классную комнату и доверительно со мной беседовала, кивая и покачивая головой, всплескивая и разводя руками, возводя глаза к небу и мигая, как принято у пожилых дам, принадлежащих к определенному сословию, хотя до тех пор мне не доводилось видеть, чтобы эта манера так утрировалась. Она даже сочувствовала мне в моих хлопотах с детьми и, порой не договаривая, но выразительно кивая и подмигивая, давала мне понять, до чего она не одобряет их маменьку: так ограничить их власть над ними, а самой ни в чем не оказывать мне поддержки! Подобный способ выражать порицание был не в моем вкусе, и я, как могла, уклонялась, отвечая лишь на то, что говорилось прямо и без обиняков. Во всяком случае, я позволяла себе лишь молча соглашаться с тем, что при иных обстоятельствах мои обязанности могли бы оказаться легче и я бы просвещала и наставляла моих учеников с заметно большим успехом. Теперь же эту осторожность следовало удвоить. Я и прежде замечала у почтенной старушки кое-какие слабости (например, склонность разглагольствовать о своих добродетелях), но всегда старалась находить им извинения и принимать на веру все ее превосходные качества, в воображении награждая ее даже теми, о которых она пока умалчивала. Я успела истоскаться по ласковой доброжелательности, которая еще так недавно окружала меня, и с неизъяснимой благодарностью принимала любое ее подобие. Неудивительно, что мое сердце прониклось теплой признательностью к старушке – я всегда радовалась ее приходу и огорчалась, когда она уходила.

Однако несколько слов, к счастью (или несчастью) услышанных мимоходом, совершенно изменили мое представление о ней. Теперь она виделась мне льстивой и лживой лицемеркой, шпионящей за каждым моим словом и поступком. Без сомнения, в моих интересах было встречать ее прежней радостной улыбкой и сохранять прежний тон почтительной симпатии, но я бы не сумела этого, даже если бы хотела. Вместе с моими чувствами переменилось и внешнее их изъяснение: я стала такой сдержанной и замкнутой, что она не могла этого не заметить. И сама тотчас переменялась – со мной здоровалась уже не дружеским кивком, но чопорным наклоном головы, вместо ласковой улыбки меня одаряли испепеляющим взглядом Горгоны, и свои словоохотливые излияния она обращала уже не ко мне, а к «миленьким деточкам», превосходя нелепостью похвал и баловства даже их маменьку.

Признаюсь, такая перемена меня встревожила, и, опасаясь последствий ее немилости, я даже попыталась вернуть себе утраченные позиции, причем удалось мне это с неожиданной легкостью – во всяком случае, внешне. Просто из вежливости я осведомилась о ее кашле. Тут же поджатые губки расцвели улыбкой, и она почтила меня длинной историей этого ее недомогания, а также всех прочих, а затем одарила рассуждениями о присущем ей благочестивом смирении в обычной своей декламационной манере, запечатлеть которую на бумаге невозможно.

– Но есть одно спасительное средство, душенька, и это – смирение (энергичный кивок), смирение перед Высшей Волей (руки всплескиваются, очи возводятся горе). Оно поддерживало меня во всех моих испытаниях, и на него я уповаю (кивки, кивки, кивки). Но не все могут сказать о себе то же (голова укоризненно покачивается). Однако я, мисс Грей, храню в сердце своем благочестие (многозначительнейший кивок). И, благодарение Небу, всегда хранила (еще кивок), и в том моя радость! (ладонь прижимается к ладони, голова смиренно наклоняется).

Не поскупившись на цитаты из Писания – неточные и не к месту, она с благочестивыми восклицаниями, воспроизводить которые я не стану, такую утомительность придавала им ее манера выражаться, удалилась, благосклонно кивнув напоследок большой головой, очень довольная – во всяком случае, сама собой, а мне внушив надежду, что правят ею слабости, а не злоба.

Когда она снова приехала погостить в Уэлвуд-Хаус, я позволила сказать себе, что рада видеть ее в таком добром здравии. Результат был магическим – простую вежливую фразу старушка приняла как самый лестный комплимент, ее лицо просияло, и с этой минуты она стала необыкновенно снисходительной и ласковой, по крайней мере в манере держаться со мной. Все это, как и болтовня детей, убедило меня, что я легко обрету ее сердечную дружбу, если буду льстить ей при каждом удобном случае. Но это было противно моим принципам, а потому капризная дама не замедлила вновь лишиться меня своей милости, и у меня есть основания полагать, что исподтишка она вредила мне, как могла.

Восстановить против меня миссис Блумфилд ей было, пожалуй, не по силам, так как они питали друг к другу взаимную неприязнь: свекровь не упускала случая побранить или очернить невестку у нее за спиной, а та с холодной вежливостью нигде не отступала от требований хорошего тона, и льстивость старшей не могла растопить стену льда, которую воздвигла между ними младшая. Зато сын готов был ее слушать при условии, что ей удавалось успокоить его раздражительность или же не рассердить его какой-нибудь своей нелепостью. И, насколько я могу судить, старушка во многом укрепила его предубеждение против меня. Она не уставала повторять, что я возмутительно пренебрегаю детьми, – да и его жена не оказывает им должного материнского внимания, а потому он обязан сам за ними следить, не то из них Бог знает что вырастет.

После таких настояний мистер Блумфилд часто брал на себя труд следить из окна, как они играют, а порой отправлялся на их розыски и, к несчастью, почти всегда внезапно появлялся именно тогда, когда они возились у запретного родника, или болтали с кучером на конюшне, или блаженствовали среди грязи на скотном дворе, а я уныло стояла в стороне, измученная бесплодными попытками увести их оттуда. Очень часто он заглядывал в классную комнату во время завтрака или обеда и видел, как они проливают молоко на стол и на себя, суют пальцы в чашки – свою и чужие – и ссорятся из-за лакомых кусков, как тигрята.

Если я в эту минуту не вмешивалась, значит, я потакаю их невоспитанности, а если (как бывало чаще) я повышала голос, тщаьс водворить порядок, значит, я позволяю недопустимую гру-

бость и подаю девочкам дурной пример несдержанностью тона и выражений.

Мне запомнился весенний день, когда из-за дождя дети не могли пойти погулять. Но – чудо из чудес – они все послушно сделали уроки и не побежали вниз досаждать родителям, чего я всегда боялась, но чему, если шел дождь, редко могла помешать. Ведь внизу их обычно ждало что-то новое и интересное, особенно когда в доме кто-нибудь гостил, а маменька, хотя и требовала, чтобы я не выпускала их из классной комнаты, никогда им за это не выговаривала и не утруждалась отправить их назад.

Однако на этот раз их никуда не влекло, и – совсем уже чудо – они мирно играли между собой, не ссорясь и не требуя, чтобы я их развлекала. Правда, забаву они избрали непонятную: усевшись рядом на полу у окна над грудой сломанных игрушек и птичьих яиц, а вернее, скорлупок, так как содержимое, к счастью, давно было из них извлечено, дети сначала раздавили скорлупки, а теперь перетирали обломки в порошок. Зачем это им понадобилось, я не знала, но меня это не слишком интересовало, лишь бы они вели себя тихо и не устраивали гадких проказ. И я в непривычном покое сидела у огня, дошивая платье для куклы Мэри Энн, чтобы потом начать письмо к маме. Внезапно дверь отворилась, и в нее просунулась невзрачная физиономия мистера Блумфилда.

– Как тут тихо! Что вы делаете?

«Ну, хотя бы сегодня – ничего дурного!» – подумала я, но папенька был другого мнения. Подойдя у окна, он раздраженно воскликнул:

– Что вы тут натворили?

– Мы толчем яичную скорлупу, папа! – весело ответил Том.

– Да как вы посмели развести такую грязь, паршивцы? Только посмотрите, во что вы превратили ковер! (Ковер этот был просто бурым половиком.) Мисс Грей, вы знали, чем они занимаются?

– Да, сэр.

– Вы *знали*?

– Да.

– *Знали*?! И сидели спокойно у камина, и не запретили им?

– Мне казалось, что они ничего дурного не делают.

– Ничего дурного! Да вы поглядите! Нет, поглядите на ковер и скажите, видели ли вы что-нибудь подобное в приличном доме? Неудивительно, что ваша комната хуже хлева, что ваши ученики хуже поросят! Да, неудивительно. Тут никакого терпения не хватит! – И он вышел, захлопнув дверь с оглушительным стуком, а дети весело захохотали.

– И моего терпения тоже! – пробормотала я, схватывая кочергу, и принялась разбивать головни, чтобы под таким благовидным предлогом дать выход досаде.

После этого мистер Блумфилд завел обыкновение проверять, прибрана ли классная комната. А поскольку дети постоянно усыпали пол обломками игрушек, прутиками, камешками, листьями и другим мусором, который я не могла ни помешать им притаскивать в дом из сада, ни заставить потом собрать, горничные же наотрез отказывались «прибирать за ними», мне приходилось тратить значительную часть своего и без того короткого досуга на то, чтобы ползать на коленях по полу и наводить порядок. Как – то раз я объявила им, что они не получают ужина, пока не подберут с ковра все: Фанни должна собрать столько-то, Мэри Энн вдвое больше, а Том – все остальное. Как ни удивительно, девочки послушно убрали свою долю, но Том пришел в такую ярость, что подскочил к столу, смахнул молочник и хлеб на пол, ударил сестер, пинком перевернул совок с углем, попытался опрокинуть стол и стулья, словно намереваясь сокрушить все вокруг, но я схватила его, отправила Мэри Энн за миссис Блумфилд и продолжала держать его, как он ни брыкался, ни бил меня кулаками, ни вопил и ни сыпал ругательствами, пока не вошла любящая маменька.

– Что случилось с моим мальчиком? – спросила она, а выслушав объяснения, послала за нянькой и распорядилась, чтобы она убрала комнату и подала мастеру Блумфилду его ужин.

– Вот вам! – торжествующе завопил он, насколько ему позволял набитый рот. – Вот вам, мисс Грей! Вы грозились, а я получил ужин и ничегошеньки с ковра не поднял!

Во всем доме искренне сочувствовала мне одна лишь нянька, которая испытывала те же му-

чения, хотя и не в такой степени, потому что не обязана была их учить и меньше отвечала за их манеры.

– Ох, мисс Грей! – говорила она. – Нелегко вам с этими бесенятами!

– Совершенно верно, Бетти. Да ведь вы сами знаете.

– Уж знаю! Только я не надрываюсь из-за них, как вы. Да и шлепаю их, что греха таить. А маленьких-то и выпорю, коли придется. Другого ведь они не понимают. Ну, да мне из-за этого уже от места отказали.

– Вот что, Бетти! Мне говорили, что вы уходите.

– Ухожу, дай вам Бог здоровья. Хозяйка сказала, чтоб через три недели моего духу тут не было. Она мне перед Рождеством говорила, что выгонит, если я опять их хоть пальцем трону. Да разве тут удержишься? Уж и не знаю, как вы справляетесь. Мэри Энн ведь дрянь похуже своих сестричек.

Глава V ДЯДЮШКА

Кроме бабушки имелся еще один частый гость в доме, чьи визиты причиняли мне много неприятностей, – «дядя Робсон», брат миссис Блумфилд, коренастый, самодовольный, с темными волосами и нездоровым цветом лица, как у сестры, с носом, словно бы раз и навсегда презревшим землю, и серыми глазками, часто сощуренными от природной глупости и притворного пренебрежения ко всему вокруг. Он был плотного сложения, но при всем том отличался тонкой талией, которая вкупе с неестественной прямоотой его осанки неопровержимо свидетельствовала, что доблестный мистер Робсон, возвышенный душой и ставящий женский пол ни во что, ради щегольства носит корсет. Он редко снисходил до того, чтобы заметить мое существование, а если и обращался ко мне с двумя-тремя словами, то лишь с высокомерной наглостью, неопровержимо свидетельствовавшей, что он не джентльмен, хотя он прибегал к ней, тщась произвести прямо обратное впечатление. Но тягостны мне его визиты были главным образом из-за вреда, который он приносил детям, потакая самым дурным их наклонностям и за несколько минут уничтожая добрые семена, которые мне с таким трудом удавалось посеять за несколько месяцев.

До Фанни и малютки Харриет дядюшка снисходил редко, но Мэри Энн считалась его любимицей, и он постоянно поощрял в ней кокетливость (которую я всеми силами старалась подавить), расхваливал ее хорошенькое личико и набивал ей голову всякими глупостями о важности красивой внешности (которую я учила считать вздором в сравнении с образованностью ума и изяществом манер). Найти же другую маленькую девочку, столь падкую на лесть, было бы трудно. Он поощрял все худшее в ней и в ее братце если не прямым одобрением, так снисходительным смехом. Многие люди не отдают себе отчета, как они портят детей, посмеиваясь над их провинностями и обращая в веселую шутку то, к чему их истинные друзья внушали им глубокое отвращение.

Хотя мистер Робсон не был завзятым пьяницей, но вина он пил много, любил побаловать себя рюмкой-другой коньяка с водой и приучал племянника елико возможно следовать его примеру, внушая, что чем больше вина он выпьет и чем больше Пристрастится к нему, тем больше будет похож на настоящего мужчину и неопровержимо докажет свое превосходство над сестрами. Мистер Блумфилд особенно не возражал, ибо сам из всех напитков предпочитал джин с водой, который поглощал в немалых количествах, понемногу прихлебывая его с утра до вечера, – чему, мне кажется, и был обязан как скверным цветом лица, так и мелочной раздражительностью.

Вдобавок мистер Робсон словом и делом поощрял склонность Тома мучить беззащитные существа. Причиной его визитов нередко было желание поохотиться в угодьях шурина, а потому он привозил с собой любимых собак, с которыми обращался так жестоко, что я с радостью уплатила бы за совершен, лишь бы какая-нибудь его укусила – разумеется, если бы это сошло ей безнаказанно. Порой в особо благодушном настроении он отправлялся с детьми разорять птичьи гнезда, и это особенно бесило и огорчало меня, так как я льстила себя мыслью, что, настойчиво возвращаясь к этой теме и вновь и вновь, сумела отчасти показать им, как дурно это развлечение, и даже

надеялась со временем привить им более широкие понятия о справедливости и гуманности. Но десять минут поисков гнезд под началом дяди Робсона или просто его веселый хохот при воспоминании о прошлых их варварствах сводили насмарку все, чего мне удавалось достичь с помощью долгих бесед и убеждений. К счастью, в эту весну они, за исключением одного единственного раза, находили гнезда либо пустыми, либо с яичками, — а ждать, пока вылупятся птенцы, у них не хватало терпения. Но как-то Том, гулявший с дядюшкой в соседнем леске, примчался в сад вне себя от восторга, держа в ладонях целый выводок голеньких птенчиков. Мэри Энн и Фанни, которых я только что вывела погулять, подбежали к брату полюбоваться его добычей и принялись выпрашивать по птичке.

— Ни одной не дам! — крикнул Том. — Они все мои. Мне их дядя Робсон подарил. Раз, два, три, четыре, пять. А вы ни одной не получите. Вот вам! — продолжал он злорадно, положил гнездышко на землю и встал над ним, широко раздвинув ноги, наклонив голову, сунув руки в карманы и гримасничая от сладкого предвкушения. — Но вы можете посмотреть, как я с ними разделаюсь. Слово благородного человека, уж я им покажу! Провалиться мне, тут есть, чем позабавиться!

— Том! — сказала я. — Мучить этих птичек я тебе не разрешу. Их надо либо сразу убить, либо отнести на прежнее место, чтобы родители могли их и дальше кормить.

— А вы, мисс, не знаете где это место! Об этом только мы с дядей Робсоном знаем.

— Если ты мне не скажешь, я сама их убью, как мне это ни тяжело.

— А вот и не посмеете! Вы в жизни не посмеете к ним притронуться, потому что знаете, что папа, мама и дядя Робсон на вас рассердятся. Ха-ха-ха! Попались, мисс!

— Я поступлю, как считаю правильным. Если твои родители этого не одобряют, мне будет очень жаль, но мнение твоего дяди Робсона меня, разумеется, никак не трогает.

И побуждаемая чувством долга, рискуя испытать отвратительную дурноту и навлечь на себя гнев моих нанимателей, я подняла большой камень, которым садовник подпирал мышеловку, и после еще одной попытки убедить маленького тирана вернуть гнездо на место я спросила, как он намерен поступить с птенчиками. С дьявольским упоением он начал перечислять всевозможные пытки, и тут я уронила камень на его несчастные жертвы, расплющив гнездо. Какие вопли, какие страшные ругательства вызвала столь возмутительная дерзость! В аллее появился дядя Робсон с ружьем и остановился дать пинка собаке. Том кинулся к нему, крича, чтобы он побил не Юнону, а мисс Грей. Мистер Робсон оперся на ружье и принялся хохотать над яростью своего племянника и над проклятиями и уничижительными эпитетами в мой адрес.

— Ну, ты молодец! — воскликнул он наконец, поднял ружье и пошел к дому. — Разрази меня Бог, а мальчишка умеет за себя постоять! Провалиться мне, если я когда-нибудь видел такой благородный дух в таком карапузе. Уже не дает юбкам над собой командовать! Матери не слушается, бабушки, гувернантки! Ха-ха-ха! Ничего, Том, завтра я найду тебе другое гнездо.

— В таком случае, мистер Робсон, я убью и тех.

— Хм! — ответил он и, почтив меня наглым взглядом, который вопреки его ожиданиям я выдержала, не моргнув и глазом, презрительно повернулся и вошел в дом. А Том побежал жаловаться маменьке. У нее не было обыкновения много говорить на какие бы то ни было темы, но когда мы встретились в этот день, выглядела она и держалась вдвое более высокомерно и холодно, чем всегда. Сказав несколько слов о погоде, она обронила:

— Мне очень жаль, мисс Грей, что вы сочли нужным вмешаться в развлечения мастера Блумфилда. Он был *очень* расстроен, что вы убили его птичек.

— Когда мастер Блумфилд для развлечения мучает живые существа, — ответила я, — вмешаться, мне кажется, мой долг.

— Видимо, вы забыли, — невозмутимо сказала она, — что все твари были только для того и созданы, чтобы мы распоряжались ими, как сочтем нужным.

Такая доктрина вызвала у меня некоторые сомнения, но я возразила только:

— Но это еще не значит, что мы можем их мучить забавы ради.

— Мне кажется, — заметила она, — что забавы ребенка много важнее того, что может случиться с бездушными тварями.

— Но подобные забавы не следует поощрять ради самого ребенка, — ответила я со всей воз-

можной кротостью, чтобы как-то искупить столь неприличное упорство. – Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.

– О, бесспорно! Но это ведь касается нашего поведения друг с другом.

– Милосердный человек милосерден и к скоту своему, – осмелилась я добавить.

– Я бы не сказала, что вы сами так уж были милосердны! – ответила она с коротким злым смешком. – Как жестоко – одним разом убить бедных пичужек и ввергнуть милого мальчика в такое горе в наказание за простую ребяческую прихоть!

Я сочла за благо промолчать. Это было единственное подобие ссоры между мной и миссис Блумфилд за все время моего пребывания в ее доме, и единственное подобие разговора с ней, если не считать дня моего приезда.

Впрочем, не только старшая миссис Блумфилд и мистер Робсон, но и другие гости, приезжавшие в Уэлвуд-Хаус, причиняли мне много огорчений. И не потому, что они меня не замечали (хотя такая невоспитанность меня неприятно удивляла), а потому что мне не удавалось не допускать к ним моих учеников, чего от меня строго требовали. Но Том рвался разговаривать с ними, а Мэри Энн жаждала похвал и восхищения. Ни брату, ни сестре застенчивость свойственна не была, не знали они и обычной детской стеснительности. Без малейшего смущения они громогласно вмешивались в разговоры старших, допекали их развязными расспросами, вцеплялись в рукава джентльменов, влезали к ним на колени без приглашения, висли у них на плечах или рылись в их карманах, дергали дам за оборки платья, растрепывали им волосы, мяли воротнички и кланчили в подарок всякие безделушки.

Миссис Блумфилд хватало благоразумия не одобрять такое их поведение и стыдиться его, однако ей не хватало ума воспрепятствовать ему – этого она требовала от меня.

Но разве могла я, одетая просто, такая привычная, говорящая им неприятную правду, увести их из гостиной, где нарядные дамы и господа из уважения к хозяевам дома хвалили их и снисходительно потакали их выходкам? Я напрягала все силы: пыталась отвлечь их, придумывала какие-нибудь новые игры, пускала в ход всю свою власть и всю строгость, на какую осмеливалась, лишь бы помешать им допекать гостей, стыдила их, объясняла, как невоспитанно они ведут себя, в надежде, что в следующий раз это их остановит. Но они не знали, что такое, стыд, ничем не подкрепленная строгость их не пугала, ну, а доброта и ласка... либо они вовсе были лишены сердца, либо так хорошо охраняли и прятали свои сердечки, что я, как ни старалась, не могла отыскать пути к ним.

Но вскоре моим испытаниям пришел конец – раньше, чем я ожидала или хотела. В один прекрасный весенний вечер в мае, – когда я радовалась приближению летнего отдыха и поздравляла себя с тем, что наконец чего-то достигла – не только кое-что вдолбила в головы моим ученикам, но в какой-то мере (увы, очень небольшой!) все-таки заставила их понять, что лучше сразу ответить уроки и пойти играть, чем день-деньской бессмысленно изводить себя и меня – миссис Блумфилд неожиданно прислала за мной и с полным спокойствием сообщила мне, что с июля мои услуги им больше не потребуются. Она заверила меня, что вовсе не порицает мой характер или мое поведение в целом, но дети за то время, которое я пробыла здесь, показали очень мало успехов, и они с мистером Блумфилдом полагают, что их родительский долг – найти иной способ их воспитания. Хотя способностями они превосходят многих своих сверстников, но печально уступают им манерами – совсем не умеют себя вести и не умеют сдерживаться. Причина же, по ее мнению, заключается в том, что я была недостаточно тверда, настойчива и заботлива.

Втайне я всегда гордилась своей незыблемой твердостью, терпеливой настойчивостью и неусыпной заботливостью, с помощью которых надеялась со временем преодолеть все трудности и в конце концов достичь успеха. Мне хотелось сказать что-нибудь в свою защиту, но мой голос дрогнул, и, не желая открыто показывать свои чувства, и уж тем более давать волю закипающим слезам, я предпочла промолчать, словно безропотно признавала себя виноватой.

Итак, меня прогнали! Вот с чем мне предстояло вернуться домой. Увы, что они подумают? После всех моих хвастливых заверений я не сумела хотя бы год остаться гувернанткой трех маленьких детей, маменьку которых моя родная тетушка описала как «очень приятную женщину»! Я подверглась испытанию и не выдержала его, так захотят ли они, чтобы я попробовала еще раз?

Это-то и терзало меня больше всего. Как я ни устала, ни измучилась, ни разочаровалась в своих ожиданиях, как ни стосковалась по родному дому, который научилась любить и ценить куда больше, чем раньше, стремление попробовать свои силы у меня еще не пропало, как и желание увидеть мир. Ведь не все же родители похожи на мистера и миссис Блумфилд, и уж, конечно, не все дети похожи на моих недавних учеников. Другая семья и будет другой, а хуже она вряд ли может оказаться. Я приобрела опыт, закалилась в неудачах и непременно должна восстановить мою честь в глазах тех, чье мнение было мне дороже всего в мире.

Глава VI СНОВА ДОМА

Несколько месяцев я прожила дома, наслаждаясь свободой, покоем, нежными заботами близких – всем тем, чего я так долго была лишена, и усердно занималась, чтобы вспомнить то, что успела забыть в Уэлвуд-Хаусе, и пополнить свои знания на будущее. Здоровье папы не окрепло, но и не стало хуже, и мне так приятно было сознавать, что с моим возвращением он повеселел и с удовольствием слушает, как я пою его любимые песни!

Никто не злорадствовал по поводу моей неудачи, никто не восклицал: «Я же говорил (говорила)! Видишь, тебе было бы лучше оставаться с нами». Они радовались, что я вернулась, и были особенно ласковы и внимательны, чтобы возместить мне перенесенные страдания, но ни папа, ни мама, ни Мэри не согласились взять хотя бы шиллинг из суммы, которую я зарабатывала с такой гордостью и так тщательно сберегала, чтобы поделиться с ними. Сокращая, где можно, расходы, мама уже почти выплатила все наши долги. Акварели моей сестры снискали успех, но папа настоял, чтобы и она заработанные деньги сохранила для себя. Все, что оставалось после пополнения нашего скромного гардероба и других необходимых расходов, мы, по его настоянию, помещали в сберегательный банк – он чувствовал, что ему уже недолго оставаться с нами, и лишь Богу известно, какая судьба ждет нас троих, когда его не будет!

Милый папа! Если бы он меньше терзал себя мыслями о невзгодах, грозящих нам после его кончины, то это страшное несчастье, конечно же, постигло бы нас гораздо позже. Мама всегда старалась отвлечь его от таких разговоров.

– Ах, Ричард! – воскликнула она однажды. – Если ты только выбросишь из головы такие мрачные мысли, то переживешь нас всех. И уж во всяком случае успеешь выдать девочек замуж и будешь коротать оставшиеся годы счастливым дедушкой в обществе сварливой старухи! – Мама засмеялась, и папа тоже, но его смех тут же перешел в горький вздох.

– Замуж? Бедняжки! – ответил он. – Кто же возьмет бесприданниц?

– Те, кто поймет, какие они сами сокровища. Разве и я не была бесприданницей, когда ты женился на мне? И ты, во всяком случае, очень убедительно делал вид, что не раскаиваешься в своем приобретении. Да и что за важность, выйдут они замуж или нет, – мы придумаем тысячи способов честным путем зарабатывать себе на жизнь. И я диву даюсь, Ричард, что ты так себя терзаешь из-за нашей бедности после твоей смерти, как будто для нас есть что-нибудь страшнее подобной утраты! Вот от этого горя тебе и следует нас поберечь, приложив все старания, а как тебе известно, бодрость духа лучшее лекарство, чтобы тело оставалось здоровым!

– Я знаю, Элис, как нехорошо поддаваться унынию, но ничего не могу с собой поделать. Тебе остается только терпеть меня таким, каков я есть!

– И не подумаю! Ты у меня станешь другим, – ответила мама, но суровости ее слов противоречила глубокая нежность тона и любящая улыбка, которая принудила папу снова улыбнуться – и не столь грустно, не столь горько, как вошло у него в обычай.

– Мама, – сказала я, едва мне удалось остаться с ней наедине. – Денег у меня очень мало, и надолго их не хватит. Если бы я могла пополнить эту сумму, у папы осталось бы меньше причин тревожиться. Рисовать, как Мэри, я не могу, а потому мне следует поискать себе другое место.

– И ты действительно этого хочешь, Агнес?

– Да, мама.

– А я думала, деточка, что ты достаточно намучилась.

– Но ведь не все люди похожи на мистера и миссис Блумфилд... – начала я.

– Бывают гораздо хуже! – перебила мама.

– Ну, уж таких, наверное, очень мало, – ответила я. – И конечно, не все дети такие. Ведь мы с Мэри были другими и всегда тебя слушались, правда?

– Обычно. Ну да ведь я вас не баловала, Впрочем, на ангелов вы не слишком походили. На Мэри нападало упрямство, а ты вспыхивала как порох. Хотя чаще вы были очень хорошими девочками.

– Я знаю, я иногда дулась. Но я бы только радовалась, если бы дети Блумфилдов дулись на меня. Тогда бы я сумела их понять. Но они не обижались, потому что их невозможно ни пристыдить, ни огорчить, ни расстроить. Они умеют только злиться и вопить.

– Раз невозможно, значит, они не виноваты. Камень не мнется, как глина.

– Да, но от этого жить рядом с такими бесчувственными, противоестественными созданиями ничуть не легче. Поллюбить их попросту нельзя. И любовь им ни к чему – они не способны ни ответить на нее, ни оценить ее, ни понять. Однако, если случай вновь сведет меня с такой семьей, что маловероятно, я ведь буду вооружена опытом и не наделаю столько ошибок. Короче говоря, позволь мне попробовать еще раз.

– Что же, деточка, как вижу, обескуражить тебя не так-то просто. И я этому рада. Но послушай, ты очень побледнела и похудела, и мы не можем позволить тебе портить здоровье, чтобы копить деньги, пусть даже для самой себя.

– Мэри тоже говорит, что я изменилась. Ничего удивительного: я же с утра до вечера не знала ни минуты отдыха ни душой, ни телом. Но в следующий раз я буду ко всему относиться гораздо спокойней.

В конце концов мама обещала еще раз помочь мне при условии, что я буду терпеливо ждать. И я предоставила ей самой объяснить все папе, когда и как она сочтет нужным, ни на миг не усомнившись, что она сумеет получить его согласие. Пока же я с жадностью проглядывала объявления в газетах и писала по всем адресам, где «требовалась гувернантка», если условия были сколько-нибудь приемлемыми. Все письма и все полученные на них ответы – если они приходили – я непременно показывала маме, и, к большому моему огорчению, она заставляла меня отказываться от одного места за другим: эти люди уж слишком из простых, эти слишком требовательны, а эти предлагают слишком маленькое жалованье.

– Не всякая дочь бедного священника обладает твоими достоинствами, Агнес, – повторяла она, – и ты не должна ими бросаться. Вспомни, ты обещала быть терпеливой. А торопиться некуда, у тебя еще много времени и большой выбор.

В конце концов она посоветовала мне самой поместить объявление в газете, перечислив предметы, которым я могу обучать, и все прочее.

– Музыка, пение, рисование, французский язык, латынь и немецкий язык – список довольно внушительный, – сказала она. – Многие будут рады заполучить такую учительницу, и на этот раз ты попытаешь счастья в более благородном семействе, в доме настоящего джентльмена. Такие люди куда скорее будут с тобой вежливы и внимательны, чем чванящиеся деньгами торговцы и надменные выскочки. Я знавала немало знатных фамилий, где с гувернанткой обходились как с членом семьи. Хотя, не спорю, и аристократы бывают и высокомерными, и прижимистыми – во всех сословиях есть хорошие люди и есть плохие.

Объявление было тут же составлено и отослано. Ответов я получила два. Но лишь в одном изъявлялось согласие платить мне пятьдесят фунтов – сумму, которую я назвала по совету мамы. Однако я не знала, соглашаться ли, так как мои будущие ученицы были старше, чем мне хотелось бы, и, решила я, их родители, несомненно, предпочли бы наставницу более светскую, чем я, и уж во всяком случае более опытную. Но мама отговорила меня, когда я уже села писать отказ. Мне надо только преодолеть мою робость, сказала она, больше поверить в себя, и все будет превосходно. Надо коротко и правдиво сообщить, чему я могу учить и как, перечислить собственные условия и ждать результата. Я решилась поставить лишь одно условие: два месячных отпуска в году – в июле и на Рождество. Незнакомая дама в своем ответе не возражала против этого, выразила убеждение, что я им подхожу, но указала, что от гувернантки она требует не широты познаний, –

живут они неподалеку от О., и, если потребуется, она наймет учителей, чтобы восполнить пробелы, – но безупречной нравственности, кротости, приятного характера и обязательности.

Маме все это не понравилось, и теперь уже она приводила доводы, почему мне следует отказаться, а Мэри горячо ее поддерживала, но мне не хотелось ждать еще, я отвергла их возражения и, заручившись согласием папы (который узнал о моих намерениях совсем недавно), отправила моей неведомой корреспондентке свое согласие, которое облекла в самую приятную форму, какую только могла ему придать, и дело было завершено.

В последний день января мне предстояло стать гувернанткой в семье мистера Мэррея, владельца Хортон-Лоджа под О., примерно в семидесяти милях от нашей деревушки. Это расстояние мне казалось огромным, так как за все двадцать лет моей жизни на земле я до сих пор дальше двадцати миль от родительского дома не уезжала, а к тому же и члены семьи мистера Мэррея, и его соседи были совершенно неизвестны как мне, так и всем моим знакомым. Однако это только щекотало мое воображение. К тому времени я уже во многом избавилась от *mauvaise honte*,¹ прежде так меня мучившего, и в мысли, что я окажусь в неведомой дали среди загадочных ее обитателей, было что-то заманчивое и волнующее. Я лелеяла надежду, что уж теперь-то повидаю мир: мистер Мэррей живет вблизи большого города, а не в промышленной области, где люди ни о чем, кроме денег, не думают, по положению в обществе, насколько я могу судить, он стоит выше мистера Блумфилда и, разумеется, принадлежит к тем истинным аристократам, которые, как сказала мама, видят в гувернантке не прислугу вроде экономки или старшей горничной, но наставницу и воспитательницу своих детей и окружают ее должным уважением. А мои ученики много старше прежних и, значит, должны быть разумнее, доступнее уговорам и требовать меньше забот. Их не надо будет все время держать в классной комнате, не надо будет неусыпно следить за ними и непрерывно что-то для них делать. И наконец, к эти моим надеждам примешивались светлые картины, далекие от воспитания детей и обязанностей гувернантки. Таким образом, читатель может убедиться, что я отнюдь не была мученицей долга, из дочерней преданности жертвующей покоем и свободой с единственной целью обрести средства, чтобы служить опорой и утешением родителям, хотя, конечно, в моих расчетах значительное место отводилось и удобствам папы, и будущей помощи маме. Пятьдесят фунтов представлялись мне внушительной суммой. Мне надо будет прилично одеваться, как того требует мое положение, придется платить за стирку и оплачивать поездки из Хортон-Лоджа домой и обратно. Но если соблюдать строгую экономию, на все это, несомненно, хватит двадцати фунтов с небольшим, и я смогу класть в банк тридцать фунтов... или чуть меньше. Большая добавка к нашим доходам! Нет, я обязана сделать все, лишь бы не потерять это место, как бы дело не обернулось! И ради того, чтобы поддержать свою честь в глазах моих близких, и ради помощи, которую сумею им оказать, если не потеряю его!

Глава VII ХОРТОН-ЛОДЖ

День тридцать первого января выдался бурным, сильный северный ветер гнал снежные хлопья и закручивал их вихрями. Родители уговаривали меня отложить отъезд, но, опасаясь такой непунктуальностью сразу же вызвать неудовольствие моих будущих нанимателей, я настояла на своем.

Не стану докучать читателям и описывать, ни как покинула дом в это темное метельное утро, ни нежное прощание, ни долгое, такое долгое путешествие до О., ни бесконечные ожидания в одиночестве то почтовых карет, то поездов, ни, наконец, встречу в О. с кучером мистера Мэррея, которого прислали за мной с фаэтоном. Скажу только, что густой снег мешал движению и лошадей и поездов, так что я приехала в О., когда уже давно стемнело, а вскоре разыгралась такая метель, что до Хортон-Лоджа мы добрались с большим трудом. Я сидела вся съежившись, мелкие ледяные кристаллы пронизывали мою вуаль, засыпали колени, я ничего не видела и только диви-

¹ Ложный стыд (фр.).

лась, как бедная лошадь и кучер еще не сбились с дороги. Экипаж полз еле-еле, но в конце концов лошадь остановилась, кучер громко кого-то гокликнул, и, заскрипев на ржавых петлях, открылись какие-то ворота. Видимо, парка. По сторонам занесенной сугробами аллеи я иногда различала мохнатые силуэты и догадывалась, что это деревья. Прошло еще немало времени, прежде чем мы остановились перед величественным портиком большого дома с высокими окнами до полу.

Я с некоторым трудом стряхнула с себя снежную пелену и спрыгнула на землю, полагая, что радушный прием возместит мне тяготы и невзгоды этого дня. Величавый слуга в черном открыл дверь, и я оказалась в обширной прихожей, освещенной подвешенной к потолку лампой янтарного цвета. Он повел меня по коридору, открыл дверь в глубине и объявил, что это классная комната. Я увидела двух барышень и двух юных джентльменов – очевидно, моих новых учеников. Мы поздоровались по всем правилам приличия, и старшая барышня, которая небрежно наклонялась над пальцами среди клубков берлинской шерсти, осведомилась, не хотела бы я подняться к себе. Разумеется, я ответила утвердительно.

– Матильда! Возьми свечку и проводи ее к ней в комнату, – распорядилась барышня.

Мисс Матильда, по виду совершенный сорванец лет четырнадцати, в коротком платье и панталончиках, пожала плечами и наморщила нос, однако свечу взяла, и я последовала за ней к черной лестнице (два крутых длинных марша) и по длинному узкому коридору в небольшую, но довольно уютную комнату. Тут она спросила, не хочу ли я чая или кофе. Я уже собралась ответить «нет», но, вспомнив, что с семи утра у меня маковой росинки во рту не было, попросила чая. Объявив, что она «скажет Браун», барышня удалилась, а к тому времени, когда я успела снять с себя тяжелый намокший плащ, шаль, шляпку и прочее, в дверях появилась жеманная горничная и сообщила, что барышни просили узнать, буду ли я пить чай здесь или в классной комнате. Сославшись на дорожную усталость, я попросила подать чай сюда. Она удалилась, но вскоре вернулась с маленьким подносом, который поставила на комодик, служивший также туалетным столиком. Вежливо поблагодарив ее, я спросила, когда мне следует встать утром.

– Барышни и барчуки завтракают в половине девятого, мисс, – сказала она. – Они встают рано. Но перед завтраком редко садятся за уроки, так, я думаю, вам можно встать в начале восьмого.

Я спросила, не окажет ли она мне любезность разбудить меня в семь, и, пообещав, она удалилась. Затем, утолив свой голод чашкой чая и тоненьким ломтиком хлеба с маслом, я села возле огня – небольшой кучки догорающих огней, и хорошенько поплакала, а потом помолилась и с более легким сердцем начала готовиться ко сну. Но моих сундучков в комнате не оказалось, я поискала сонетку и, не обнаружив ни в одном углу этого полезного приспособления, отправилась со свечкой по длинному коридору и вниз по лестнице. Встретив прекрасно одетую особу женского пола, я объяснила ей, что мне нужно, – хотя и не без колебаний, так как не могла решить, экономя она, старшая горничная или сама миссис Мэррей. Но она оказалась камеристкой этой последней, и с таким видом, словно оказывала мне редкую любезность, обещала присмотреть, чтобы мой багаж принесли ко мне в комнату. Вернувшись к себе, я очень долго ждала, сильно опасаясь, что она попросту забыла о своем обещании или поленилась его исполнить, и даже собралась вновь спуститься вниз, как вдруг мои надежды воскресли: в коридоре послышались голоса, смех, а затем шаги, в дверь с моими сундучками ввалились грубоватого вида служанка и лакей, не выразившие мне особого почтения. Закрыв дверь под замирающий звук их удаляющихся шагов, я распаковала кое-какие вещи и легла – с радостью, так как была утомлена и телом и душой.

Утром я пробудилась в унынии, к которому примешивалось странное ощущение новизны и довольно грустного любопытства – что-то ждет впереди? Словно меня колдовством перенесли за тридевять земель и внезапно сбросили с облаков в неведомый край, совсем не похожий на все то, что я видела и знала прежде; словно я залетела сюда, как пушинка, которую ветер забрасывает в расселину с неблагоприятной почвой, где ей предстоит долгое бесплодное прозябание, прежде чем принесенное ею семечко пустит корни и прорастет, извлекая питание из столь чуждой ему земли. Впрочем, такие сравнения совсем не передают моих чувств. Лишь тот, кто вел такую же уединенную и тихую жизнь, как я, мог бы получить о них представление, если бы внезапно очутился, например, в Новой Зеландии, отделенный безбрежным океаном от всех, кто его знал.

Не скоро забуду я это необычайное ощущение. Когда же я посмотрела в окно на неизвест-

ный мир, то взору моему открылась лишь бесконечная, белая пелена:

Пустыня, погребенная в снегах,
В сугробах скрытые деревья...

Я спустилась в классную комнату, не испытывая особой охоты присоединиться к моим ученикам, хотя мне было любопытно узнать, что откроет более близкое знакомство с ними. Во всяком случае, я приняла твердое решение – одно из нескольких достаточно важных – называть их «мисс» и «мастер». Подобная церемонность между детьми – особенно такими маленькими, как в Уэлвуд-Хаусе, – и их наставницей, проводящей с ними все время, казалась мне холодной и неестественной. Однако даже в том, что я обращалась к маленьким Блумфилдам по имени, видели оскорбительную вольность: недаром их родители в разговоре со мной называли их не иначе как «мастер Блумфилд» и «мисс Блумфилд». Я слишком поздно поняла намек, так как чересчур уж нелепым это мне казалось. Но теперь я решила быть умнее и строго соблюдать все правила этикета по отношению к любым членам семьи. Впрочем, подумала я, с такими большими детьми это будет гораздо легче, хотя короткие словечки «мисс» и «мастер» удивительным образом уничтожали всякую сердечность и гасили любой проблеск симпатии, которая могла бы возникнуть между нами.

Но в отличие от шекспировского Ключки, у меня не хватит духу терзать читателя чрезмерной обстоятельностью, и я не стану утомлять его подробным рассказом о том, что я узнавала и что происходило как в первый день, так и в последующие. Без сомнения, его вполне удовлетворит краткое описание членов семьи и первых двух лет, которые я провела в этом доме.

Начнем с его главы. Мистер Мэррей, по общему мнению, как будто был полнокровным, веселым провинциальным помещиком, рьяным любителем лисьей травли, искусным наездником, знатоком лошадей, рачительным хозяином и большим *bon-vivant*.² Я говорю «по общему мнению» и «как будто» потому, что не видела его месяцами, если не считать воскресений, когда он посещал церковь. Да иной раз в прихожей или в парке мне встречался высокий дородный джентльмен с багровыми щеками и сизым носом. Если он оказывался на достаточно близком расстоянии от меня, то фамильярно кивал, произнося «доброе утро, мисс Грей» или еще какое-то короткое приветствие. Довольно часто до меня доносился его зычный хохот, и столь же часто я слышала, как он осыпает кощунственными проклятиями кучера или еще какого-нибудь злополучного слугу.

Миссис Мэррей, его супруга, оказалась красивой элегантной дамой лет сорока, которая не жалела ни средств, ни усилий, чтобы подольше сохранить свои чары. Ее главное занятие заключалось в том, чтобы давать званые вечера или посещать их и тщательно следить за всеми капризами моды. В первый раз я увидела ее только в одиннадцать часов на другой день после моего приезда, когда она почтила меня внезапным появлением в классной комнате – так мама могла бы заглянуть на кухню, чтобы познакомиться с новой служанкой. Но нет! Мама не стала бы откладывать это на следующий день, а поговорила бы с ней сразу же, куда более ласково и дружески, и не только подробно объяснила бы ей ее обязанности, но и прибавила бы несколько слов одобрения. Миссис же Мэррей просто зашла в классную, возвращаясь из комнаты экономки, которой заказывала обед, пожелала мне доброго утра, постояла минуты две у камина, сказала несколько слов о погоде, выразила убеждение, что дорога мне наверное «показалась тяжелой», погладила по голове своего младшенького – десятилетнего мальчугана, который как раз кончил вытирать о ее платье рот и руки после лакомства из запасов экономки, сообщила мне, какой он милый, хороший ребенок, и выплыла вон из комнаты с самодовольной улыбкой на лице – без сомнения считая, что достаточно затруднила себя, да к тому же была на редкость чарующе-снисходительной. Ее дети, видимо, придерживались такого же мнения, и лишь одна я его не разделяла.

Потом она еще раза два заходила ко мне в отсутствие моих учеников, чтобы просветить меня относительно моих обязанностей. Что касается девочек, она желала лишь, чтобы они научились заботиться о своей внешности и развили свои светские таланты, однако не прилагая излишних стараний. От меня же соответственно требовалось учить, развлекать и помогать, наставлять, поли-

² Любитель хорошо пожить (фр.).

ровать и оттачивать без малейших усилий с их стороны и каких-либо настояний – с моей. То же относилось и к мальчикам, но вместо полировки светских талантов я должна была вбить им в головы как можно больше латыни и «Делектуса» Валпи, чтобы подготовить их к школе – то есть как можно больше, но только не обременяя их. Джон может «показать характер», а Чарльз бывает немножко нервным и непослушным.

– Но как бы то ни было, мисс Грей, – сказала она, – надеюсь, вы сумеете держать себя в руках и неизменно оставаться мягкой и терпеливой. Особенно с малюткой Чарльзом – он такой нервный, такой впечатлительный и привык лишь к самому ласковому обращению. Вы простите, что я вас об этом предупреждаю, но до сих пор у всех гувернанток, даже самых лучших, оказывался именно этот порок. Им не хватало той кротости и спокойствия духа, которые, как учил святой Матфей или кто-то еще из них, гораздо лучше, чем одевание в пышные и мягкие одежды... Впрочем, вы же дочь священника и сами знаете этот стих. Однако я не сомневаюсь, что и в этом, как и во всем остальном, вы нам подойдете. И помните, во всех случаях, когда кто-нибудь из них выберет себе не вполне достойное занятие или развлечение, а убеждения и мягкий выговор не помогут, пошлите ко мне кого-нибудь из остальных трех. Я ведь могу говорить с ними более прямо, чем позволительно вам. Постарайтесь, чтобы они были веселы и довольны, мисс Грей, и, полагаю, вы нам подойдете.

Я заметила, что миссис Мэррей, столь заботливо оберегая счастье и покой своих детей, столь постоянно возвращаясь к этой теме, ни разу не подумала, что и я могу нуждаться в каком-то внимании. Они же были у себя дома, среди близких и друзей, а я – совсем одна в незнакомом месте. Я еще так мало знала свет, что меня это удивило!

Мисс Мэррей, иначе Розали, в свои шестнадцать лет была очень хорошенькой, а через два года, вступив в пору расцвета, обретя еще большее изящество осанки и элегантность манер, она стала бесспорной красавицей: высокая, стройная, но не худая, безупречно сложенная, с нежным цветом кожи, хотя и не игравшей здоровым румянцем. Пышные длинные русые локоны отливали золотом, голубые глаза были пленительно ясными и чистыми, и вряд ли кто-нибудь пожалел, что они не васильково-синие. Черты лица у нее были мелкими, не вполне правильными и мало примечательными, тем не менее ее нельзя было не признать обворожительной. Жаль только, что я не могу с такой же похвалой отозваться о ее уме и склонностях.

Но не ждите никаких ужасов: она обладала живостью, легкостью характера и умела быть очень милой с теми, кто ей не перечил. Со мной вначале она держалась холодно и высокомерно, потом стала дерзкой и властной, но мало-помалу оставила эти замашки и со временем привязалась ко мне настолько горячо, насколько это позволяли особенности моего положения и ее характера: она редко более чем на полчаса забывала, что я дочь бедного священника без собственного прихода и что ее родители платят мне жалованье. Тем не менее я уверена, что она уважала меня больше, чем сама об этом подозревала. Ведь в их доме только я одна исповедовала высокие нравственные принципы, неизменно говорила правду и всегда старалась ставить долг превыше желаний – все это я упоминаю, разумеется, не для того, чтобы похвалить себя, но чтобы показать, какова, к несчастью, была семья, где мне пришлось служить. Отсутствие этих принципов особенно меня огорчало именно в мисс Мэррей. И не только из-за ее ко мне отношения. В ее натуре было столько хорошего и приятного, что она внушала мне настоящую симпатию, несмотря на все свои недостатки – пока не сердила меня или не вызывала моего негодования, слишком уж выставляя их напоказ. Впрочем, я относилась к этому на счет дурного воспитания, а не каких-либо дурных природных наклонностей.

Ее никогда не учили отличать хорошее от дурного; ей, как и ее братьям и сестре, с младенчества разрешалось тиранически командовать няньками, гувернантками и прислугой; ее не учили умерять желания, сдерживаться, укрощать свою волю и жертвовать удовольствиями ради блага других. По натуре она была скорее доброй и веселой. Но постоянное баловство и привычка не слушать доводов рассудка сделали ее капризной и вспыльчивой. Ум ее, от природы не очень глубокий, оставался неразвитым, несмотря на живость и известную проницательность. Она обладала несомненными способностями к музыке и языкам, но до пятнадцати лет не утруждала себя занятиями, но затем желание блистать пробудило в ней усердие – однако лишь к приобретению свет-

ских талантов. Как я вскоре убедилась, в небрежении оставалось все, кроме французского, немецкого, музыки, пения, вышивания и, пожалуй, рисования – в той мере, в какой оно не требовало больших усилий, и с тем, чтобы большую часть доделывала я. Музыку и пение ей преподавал лучший учитель, какого только можно было найти, и в них, как и в танцах, она, бесспорно, достигла немалого совершенства. Музыкае она даже посвящала излишне много времени, и, как ее гувернантка, я часто пеняла ей за это, но ее маменька считала, что никакой беды тут нет – лишь бы она сама хотела, ну, а музыка – такое приятное искусство. Вышивать я прежде не умела и многое почерпнула у моей ученицы и просто из наблюдений. Но едва я постигла некоторые тонкости, как она нашла десятка два способов извлечь из этого пользу и переложила на меня все скучное, хотя и, необходимое: я натягивала канву на палец, подрубала, подбирала по цвету мотки шерсти и шелка, наносила рисунок, считала стежки, исправляла ошибки и доканчивала надоевшие ей вышивки.

В шестнадцать лет мисс Мэррей была веселой шалуньей, хотя не более, чем естественно и допустимо для такого возраста. А в семнадцать эта склонность, как и все остальное, подчинилась главной всепоглощающей страсти – пленять и ослеплять другой пол. Но довольно о ней, пора перейти к ее сестрице.

Мисс Матильда Мэррей была невоспитанным сорванцом и не заслуживает длинного описания. Достаточно сказать, что она была на два с половиной года моложе сестры и отличалась от нее более крупными чертами лица и темными волосами. С возрастом она, возможно, стала красивой женщиной, но пока долговязость и неуклюжесть не позволяли назвать ее хорошенькой, что, впрочем, оставляло ее совершенно равнодушной. Розали знала свои чары, преувеличивала их в собственных глазах и ценила гораздо выше, чем они того заслуживали, даже если бы были втрое сильнее. Матильда считала, что недурна собой, но не заботилась о своей наружности, как не заботилась и об образовании своего ума и развитии светских талантов. Ее манера учить уроки и упражняться на фортепьяно могла свести с ума любую гувернантку. Как ни просты и ни коротки были задания, которые я ей давала, они если и выполнялись, то наспех и кое-как. К тому же в самое неудобное время и способом наименее полезным для нее, но наиболее тяжелым для меня. Краткие полчаса музыкальных упражнений она беспощадно барабанила по клавишам и всячески изливала на меня свое неудовольствие за то, что я ее поправляю, или за то, что я заранее не помешала ей ошибиться, или еще за что-нибудь столь же нелепое. Раза два я осмелилась серьезно попенять на столь неразумное поведение, но оба раза выслушивала такие нотации от ее маменьки, что поняла одно: если я не хочу потерять это место, то не должна мешать мисс Матильде вести себя как ей заблагорассудится.

Однако ее дурное настроение почти всегда исчезало, едва с уроками бывало покончено. Катаясь на своей норовистой лошадке, играя с собаками или с братьями и сестрой – а особенно с любимым братом Джоном, – она была весела, точно птичка. Матильда была бы отличным животным – полным жизни, энергии, сил, но как существо, наделенное разумом, она отличалась варварским невежеством, упрямством, небрежностью и безрассудством, – качества как на подбор, плачевно затруднявшие задачу той, чьей обязанностью было образовывать ее ум, прививать ей хорошие манеры и помогать в приобретении светских талантов, которые она, в отличие от сестры, презирала, как и все перечисленное выше. Маменька видела этот ее недостаток и постоянно читала мне наставления: мне следует исправить ее вкус, пробудить и взлелеять в ней женское тщеславие и с помощью искусной, вкрадчивой лести пробудить в ней желаемые интересы – чего я делать не хотела. И еще мне следует украшать и выравнивать дорогу к знаниям, чтобы она могла скользить по ней вперед без малейших усилий – чего я сделать не могла: ведь ничему научить нельзя, если ученик не прилагает никаких стараний усвоить что-либо.

По натуре Матильда была беззаботна, упряма, воинственна и не поддавалась никаким уговорам. О плачевности ее нравственных понятий свидетельствует тот факт, что она научилась от отца ругаться, как пьяный солдат. Такая привычка в благовоспитанной барышне весьма огорчала ее маменьку, которая ума приложить не могла, «откуда это взялось».

– Но вы скоро отучите ее от подобных выражений, мисс Грей, – сказала она. – Это ведь просто дурная привычка, и, если вы будете всякий раз мягко напоминать ей, что таких слов употреблять не следует, не сомневаюсь, что она скоро от нее избавится.

Я не только «мягко напоминала», но и пыталась внушить ей, как это дурно и как оскорбляет слух приличных людей, но в ответ слышала только залихватый смех и: «Ага, мисс Грей! А я вас шокировала! Ура, ура!» или: «Но в чем я виновата? Зачем папа меня им учил? Я ведь набралась их от папы, ну, и немножко от кучера».

Ее брат Джон, он же мастер Мэррей, когда я поселилась у них, был одиннадцатилетним здоровым крепким мальчиком, честным и добрым от природы, но из-за плохого воспитания стал буйным, как медвежонок, непослушным и грубым проказником, который ничему не учился и не поддавался никаким наставлениям – во всяком случае, от гувернантки под бдительным оком его маменьки. Возможно, школьные учителя лучше с ним справлялись – в конце года, к моему большому облегчению, он был отправлен в школу, правда не имея почти никакого понятия не только о латыни, но и о других более полезных предметах, вовсе оставшихся в небрежении. Разумеется, вина должна была пасть на невежественную гувернантку, которой было поручено его образование, – она самонадеянно взяла на себя то, что было ей совершенно не по силам. От его брата я избавилась только еще через год, когда и он был отправлен в школу в состоянии такого же вопиющего невежества.

Мастер Чарльз был любимчиком матери. Моложе Джона лишь на год с небольшим, он, однако, был много ниже ростом, более бледным, хилым и слабым. Трусливый, злобный, капризный маленький эгоист, он любил делать только гадости, а ум упражнял лишь в выдумывании лжи – и не для того, чтобы скрыть какую-нибудь свою провинность, но чтобы позлорадствовать, навлекая неприятности на других. По правде говоря, мастер Чарльз оказался весьма тяжким бременем: не хватало никакого терпения, чтобы просто поддерживать мир между нами; необходимость следить за его поведением была ужасна, а о том, чтобы учить его или хотя бы делать вид, что учишь, и речи быть не могло. Он не умел прочесть даже строчки самого простенького рассказа, но по настоянию его маменьки полагалось подсказывать ему каждое слово, прежде чем он успевал хотя бы толком рассмотреть буквы или подумать, а говорить для назидания, что другие мальчики, его ровесники, уже умеют читать сами, строжайше возбранялось, поэтому несколько не удивительно, что за два года занятий со мной он почти не продвинулся. Крохотные порции правил латинской грамматики и прочего, которые ему следовало выучить наизусть, я должна была повторять снова и снова, пока он не объявлял, будто все знает, а потом без непрерывных подсказок не мог ничего связно повторить. Если он делал ошибки в простеньких арифметических примерах, я должна была тут же их исправлять и доделывать пример за него, вместо того чтобы он упражнял свой ум, отыскивая и исправляя их сам. Естественно, что мастер Чарльз не старался избегать ошибок и часто писал первые попавшиеся цифры, не производя никаких действий.

Я не всегда подчинялась указанным правилам – это было противно моей совести. Но стоило мне допустить даже легкое уклонение от них, как я навлекала на себя гнев моего ученика, а тем самым и его маменьки, ибо он незамедлительно сообщал ей о моих прегрешениях, злокозненно их преувеличивая или украшая лживыми выдумками. Несколько раз я чувствовала, что вот-вот лишусь места или сама от него откажусь, но ради моих близких я укрощала свою гордость, скрывала негодование и все-таки выдержала до того дня, когда моего маленького мучителя отправили в школу. Его папенька объявил, что от домашнего воспитания ему «никакого толку нет: мать безобразно его избаловала, а гувернантка ничего с ним поделать не может!»

Еще несколько слов о Хортон-Лодже и порядках в нем, и я на время завершу сухие описания. Дом был прекрасным и превосходил дом мистера Блумфилда и старинностью, и размерами, и элегантностью. Планировка сада, правда, не отличалась особым вкусом, зато вместо подстриженных газонов, молодых огороженных саженцев, тополиной рощицы и елочных посадок при Хортон-Лодже имелся парк с оленями и величественными старыми деревьями. Окрестности радовали взгляд тучными нивами, зелеными рощами, тихими проселками между прелестными живыми изгородями с полевыми цветами у их подножия, но казались утомительно плоскими после суровых холмов графства среди которых я родилась и выросла.

До приходской церкви было две мили, и потому каждое воскресное утро, а иногда и чаще к крыльцу подавалась семейная карета. Мистер и миссис Мэррей считали достаточным показаться в церкви один раз, но их дети иногда так уставали от вынужденного безделья, что предпочитали по-

ехать и на вторую службу. Если кто-нибудь выражал желание пройтись туда пешком в моем сопровождении, я всегда радовалась, так как иначе мне предстояло сидеть в тесном углу кареты, самом дальнем от окошка, да еще спиной к лошадям, и мной всегда одолевала дурнота. И если я не оказывалась вынужденной покинуть церковь еще до конца службы, все равно я не могла отдаться молитвам с должным благоговением, так как ощущала неприятную слабость, тошноту и мучилась страхом, что мне может стать хуже. Ноющая головная боль не оставляла меня до конца дня, которому предназначено быть днем желанного отдохновения и тихих, благочестивых радостей.

– Как странно, мисс Грей, что вас всегда в карете тошнит, а я вот чувствую себя преотлично, – заметила как-то мисс Матильда.

– И я тоже, – сказала ее сестра. – Хотя, если бы мне пришлось сидеть на ее месте, таком душном, противном... Мисс Грей, я просто не понимаю, как вы это выносите.

«Выношу, потому что у меня нет выбора», – могла бы я отрезать, но, щадя их чувствительность, ответила только:

– Но путь такой короткий! И я не обращаю особого внимания, только бы в церкви дурнота проходила.

Если бы меня попросили описать обычный порядок дня, я оказалась бы в большом затруднении. Завтракала, обедала и ужинала я в классной комнате с моими учениками в удобное им время: то они требовали подать обед, когда он еще не сварился, то больше часа оставляли его стыть на столе, а потом сердились, что картофель совсем холодный, а в подливке плавают белые островки затвердевшего жира. Иногда они пили чай в четыре, но часто набрасывались на горничную за то, что его не подали ровно в пять, а когда это распоряжение пунктуально выполнялось, садились за него в семь, а то и в восемь.

Часы их занятий распределялись почти также. Мое мнение не спрашивалось, о моих удобствах не осведомлялись. Иногда Матильда и Джон решали «отделаться от этой чертовой скукотини» еще до завтрака и посылали горничную будить меня в половине шестого без малейшего стеснения или извинений. Иногда мне предписывали быть готовой ровно в шесть, а когда я, торопливо одевшись, спускалась в классную комнату, она оказывалась пустой, и после долгого бесплодного ожидания выяснялось, что они передумали и решили еще поваляться в постели. Летом в погожее утро являлась Браун и предупреждала, что молодые господа решили устроить себе отдых и отправились гулять, и мне приходилось томиться без завтрака почти до голодного обморока – они-то не забывали перекусить перед прогулкой.

Часто им взбрела фантазия делать уроки на чистом воздухе. Возразить мне было нечего, но только я часто схватывала простуду, посидев на сырой траве, или от вечерней росы, или из-за коварного ветерка, а им все казалось нипочем. Конечно, упрекать их за хорошее здоровье было бы странно, но ведь могли бы они научиться немножко думать о тех, кто не мог им похвастать. Однако, возможно, вина была моя, так как я садилась там, где хотелось им, без всяких возражений, неразумно предпочитая рисковать простудой, лишь бы не просить их о чем-либо ради самой себя. Капризность, с какой они выбирали время и место для занятий, вполне гармонировала с распушенностью их поведения во время них. Слушая мои объяснения или отвечая урок, они полулежали на кушетках, валялись на ковре, потягивались, зевали, переговаривались, смотрели в окно, но стоило мне помешать в камине или уронить платок, как мне тотчас выговаривали за то, что я отвлекаюсь, или сообщали, «что маме не понравилась бы такая небрежность».

Слуги, видя, как мало уважают гувернантку хозяева дома и их отпрыски, вели себя соответствующим образом. Я часто не без опасений за себя пыталась оградить их от придирок и капризов барчуков и барышень и старалась поменьше их затруднять, но они нисколько не заботились о моих удобствах, не исполняли мои просьбы и пренебрегали моими распоряжениями. Я убеждена, что есть немало слуг, которые в подобных случаях ведут себя иначе, однако домашняя прислуга необразованна, не привыкла рассуждать и размышлять и легко поддается дурному примеру господ. А тут с самого начала, мне кажется, примеры были не из лучших.

Порой я чувствовала себя униженной и испытывала горький стыд при мысли, что мирюсь с таким оскорбительным неуважением; а порой упрекала себя за то, что принимаю его столь близко к сердцу и забываю о христианском смирении и той любви, которая «долго терпит, милосердству-

ет, не ищет своего, все покрывает, все переносит». Но время и терпение сыграли свою благотворительную роль, правда медленно и почти незаметно. От молодых джентльменов меня избавила школа (большое облегчение!), а барышни, как я уже упоминала про одну из них, умилили надменность, и в их манере появились некоторые признаки уважения. «Мисс Грей была чудачка – никогда не льстила им и почти не хвалила, но уж если она одобряла их самих или что-то им принадлежащее, они знали, что сказано это искренне. Обычно она была очень уступчива, тиха, покладиста, но кое-что выводило ее из себя. Разумеется, ее возмущение их мало трогало, но все же лучше было не дразнить ее. Ведь в хорошем расположении духа она разговаривала с ними и была на свой манер приятной и интересной. Совсем не так, как мама, но разнообразие никогда не вредит. У нее обо всем было свое твердое мнение, хотя подчас и очень скучное, – ведь она всегда думала о том, что хорошо, а что дурно, питала непонятное благоговение к религиозным вопросам и столь же непонятные симпатии к добродетельным людям».

Глава VIII ПЕРВЫЙ БАЛ

В восемнадцать лет мисс Мэррей предстояло покинуть безвестность классной комнаты и погрузиться в вихрь блестящей светской жизни – конечно, в той мере, в какой его можно обрести вне Лондона, ибо папенька не желал расставаться со своими сельскими удовольствиями и занятиями даже на несколько недель столичного сезона. Ее светский дебют был назначен на третье января – маменька намеревалась дать великолепный бал для всей аристократии О. и его окрестностей в радиусе двадцати миль, пригласив также сливки сельской знати. Разумеется, мисс Мэррей ждала этого бала с величайшим нетерпением и самыми радостными предвкушениями.

– Мисс Грей, – сказала она как-то вечером за месяц до знаменательного дня, оторвав меня от длинного и очень интересного письма моей сестры, которое я утром только вскрыла и, убедившись, что дурных новостей оно не содержит, отложила до более тихого часа. – Мисс Грей, да бросьте же ваше скучное, глупое письмо и послушайте меня. Уж конечно, это будет вам куда интереснее.

Она уселась на пуфик у моих ног, и я, подавив досадливый вздох, начала складывать послание Мэри.

– Ну почему вы не предупредили ваших добрых домашних, чтобы они не надоедали вам такими длинными излияниями? – сказала она. – А главное, писали бы на приличной бумаге, а не на таких огромных вульгарных листах. Видели бы вы, какие очаровательные записочки мама посылает своим друзьям!

– Мои добрые домашние, – ответила я, – прекрасно знают, что чем длиннее письмо, тем оно мне приятнее. И мне было бы очень больно получать от них очаровательные записочки. А обвинять тех, кто пишет на больших листах, в вульгарности – это ведь чуть-чуть вульгарно, не правда ли, мисс Мэррей?

– Это я сказала только, чтобы подразнить вас! А теперь поговорим о бале. До него вы не должны никуда уезжать. Домой отправитесь после.

– Но почему? Я ведь на балу не буду.

– Да, конечно. Однако полюбуется комнатами во всем параде, послушает издали музыку, а главное, увидите меня в моем чудесном новом платье. Я буду такой очаровательной, что совсем вас покорю. Нет, останьтесь, останьтесь!

– Мне очень хотелось бы посмотреть на вас, но у меня будет еще много случаев полюбоваться вами в не менее чудесных платьях перед множеством других балов и званых вечеров, а огорчить моих близких, отложив отъезд, я не могу.

– Ах, да забудьте вы ваших близких! Напишите, что мы вас не отпускаем.

– Но, по правде говоря, я и сама огорчусь. Я соскучилась по ним так же, как они по мне, а может быть, и больше.

– Так ведь задержитесь вы всего на несколько дней!

– Согласно моим вычислениям, почти на две недели. И мне даже подумать трудно, что Рождество я проведу не дома. Главное же – моя сестра выходит замуж.

- Неужели? А когда?
- Через месяц с небольшим. Но я хочу помочь ей с приготовлениями и побыть с ней, пока она нас еще не покинула.
- А почему вы раньше мне не сказали?
- Но я узнала об этом только сейчас. Из письма, которое вы объявили скучным и глупым и не дали мне дочесть.
- А за кого она выходит?
- За мистера Ричардсона, священника соседнего прихода.
- Он богат?
- Нет, только обеспечен.
- Он красив?
- Нет, только приятен.
- Молод?
- Нет. Среднего возраста.
- Помилуйте! Что за жених! А дом у него какой?
- Небольшой дом при церкви. Крыльцо увито плющом, старый сад и...
- Ах, перестаньте! Мне будет дурно. Как она все это вынесет?
- Думаю, она не только все это вынесет, но и будет очень счастлива. Вы ведь не спросили меня, какой мистер Ричардсон человек. Добрый ли, умный, с хорошим характером? И на все эти вопросы я ответила бы «да». Во всяком случае, так думает Мэри, и надеюсь, что она не ошибается.
- Но... бедняжка! Да как она даже подумать может, чтобы провести всю свою жизнь взаперти с гадким старикашкой и без всяких надежд на что-нибудь лучшее?
- Он вовсе не старикашка. Ему немногим больше тридцати пяти, а ей уже двадцать восемь, серьезна же она на все пятьдесят.
- О! Тогда, пожалуй... Они друг другу подходят. Только его ведь называют «почтенный пастырь»?
- Не знаю. Но если называют, думаю, он этого достоин.
- Какой ужас! И она будет носить белый передник? И печь пироги и пудинги?
- Про белый передник ничего сказать не могу, но пироги и пудинги иногда она печь будет. Хотя это навряд ли ее огорчит: она их уже много раз пекла!
- И она будет ходить по деревне в простенькой шали и огромной соломенной шляпе, угощая бедных прихожан духовными трактатами и бульоном из костей?
- Право, не знаю. Но, наверное, она постарается помогать им, подкрепляя и душу и тело, как всегда делает наша мама.

Глава IX БАЛ

- Ну, мисс Грей, – приветствовала меня мисс Мэррей, едва я, сняв верхнее платье, спустилась в классную комнату в первый раз после месяца, проведенного дома. – Закройте поскорее дверь, садитесь, и я расскажу вам про бал.
- Нет, черт подери! – закричала мисс Матильда. – Придержи язык, а? Дай я расскажу ей про мою новую кобылку. Такое чудо, мисс Грей. Самых чистых кровей...
- Да замолчи же, Матильда! Не перебивай.
- Вот уж нет, Розали. Ты ведь никогда не кончишь. И первой рассказывать ей буду я, разрази меня гром на этом месте.
- Мне грустно слышать, мисс Матильда, что вы все еще не избавились от этой скверной привычки.
- Я же не виновата. Но я не скажу ни единого плохого слова, если только вы будете слушать меня и велите Розали, чтобы она придержала свой проклятый язык.
- Розали зашпорилась, и я уж подумала, что они разорвут меня пополам, но голос у мисс Матильды был громче, а потому ее сестрица в конце концов нехотя уступила ей первенство, и я была

обречена выслушать длинейшее описание чудесной кобылы, ее статей, родословной, аллюров, выносливости, норова и так далее. А также узнать, с какой изумительной сноровкой и смелостью сама мисс Матильда скачет на ней – ворота из пяти жердей она берет «одним махом», а папа сказал, что возьмет ее на следующую же лисью травлю, и мама уже заказала для нее алую-преалую охотничью амазонку!

– Ах, Матильда, как ты сочиняешь! – воскликнула ее сестра.

– Ну и что? – ничуть не смутившись, ответила та. – Я ведь знаю, что возьму забор из пяти жердей одним махом, если захочу, а папа возьмет меня на травлю, и мама закажет амазонку, если я только попрошу.

– Ну, а теперь достаточно, – сказала мисс Мэррей. – И постарайся, милочка Матильда, вести себя благовоспитаннее. Мисс Грей, ну скажите ей, чтобы она не употребляла таких ужасных слов. Она же называет свою лошадь *кобылой*! Это невыносимо! А какие невозможные выражения она употребляет, когда описывает ее! Набралась от конюхов, не иначе. Я готова в обморок упасть, стоит ей открыть рот.

– Набралась я их от папы, дура, и от его друзей охотников, – ответила юная барышня, щелкнув хлыстом, с которым не расставалась. – А в лошадиных статях я разбираюсь не хуже их.

– Ну, довольно, гадкая девчонка! Я правда лишусь чувств, если ты не замолчишь. А теперь, мисс Грей, слушайте меня. Я расскажу вам про бал. Вы ведь умираете от желания поскорее все про него узнать, я знаю! Ах, какой это был бал! Ничего ему подобного вы не видели, не слышали, не читали и во сне вам не снилось! Как были украшены комнаты! А танцы, ужин, музыка! Нет, это неопишимо. А гости! Два графа, три баронета и пять титулованных дам! И множество еще всяких дам и джентльменов. Разумеется, дамы меня не интересовали, хотя и помогли мне оценить себя – такие уродливые и неуклюжие почти все они были. А мама сказала, что даже самые лучшие, даже признанные красавицы среди них ни в какое сравнение со мной не шли. Ну, а я, мисс Грей... Ах, как жалко, что вы меня не видели! Я была *обворожительно*, верно, Матильда?

– Серединка на половинку.

– Ничего подобного! Во всяком случае, так мама сказала. И Браун. И Уильямсон. Браун сказала, что все джентльмены, как только меня увидят, так сразу по уши влюбятся. Значит, мне позволительно быть чуточку тщеславной. Я знаю, вы считаете меня возмутительной, самодовольной, пустоголовой. Но, право же, я не приписываю все только своим чарам, но отдаю должное и парикмахеру, и моему восхитительному платью – завтра я вам его покажу: белый газ на розовом атласном чехле и такой прелестный фасон! И ожерелье с браслетом из дивных крупных жемчужин.

– Я не сомневаюсь, что выглядели вы обворожительно. Только стоит ли так этому радоваться?

– Ах, нет! Не только этому. Мной ведь *так* восхищались! И я за этот вечер одержала *столько* побед! Вы даже не поверите...

– Но какую пользу они вам принесут?

– Пользу! И это спрашивает женщина?

– Ну, мне казалось бы, вполне достаточно и одной победы. Да и она излишняя, если только поражение не взаимно.

– О! Ведь вы знаете, тут я с вами никогда не соглашусь. Нет-нет, погодите, я перечислю вам главных моих обожателей – тех, кто особенно выказывал свое восхищение и на балу и после: для меня ведь дали еще два званных вечера. К сожалению, оба графа, лорд Г. и лорд Ф., уже женаты, иначе я, быть может, снизошла бы до того, чтобы немножечко их выделить. Но, увы! Впрочем, лорд Ф. – свою жену он ненавидит – был от меня просто без ума. Два раза приглашал меня на танец, а танцует он, кстати, восхитительно, как и я; вы даже представить себе не можете, как чудесно я танцевала – просто сама удивлялась. Милорд расточал такие комплименты! Даже чересчур, так что мне пришлось напустить на себя немножко высокомерия и холодности. Зато я имела удовольствие видеть, как его противная надутая жена чуть не умерла от злости и досады...

– Мисс Мэррей, не могла же подобная вещь на самом деле доставить вам удовольствие! Какой бы надутый...

– Ну, конечно, это не очень хорошо. Но ничего, я обязательно когда-нибудь стану хорошей,

только не читайте мне сейчас проповедь, будьте умницей. Я ведь и половины еще вам не рассказала. Так о чем это я?.. Ах да! Мои бесспорные обожатели. Во-первых, сэр Томас Эшби... Сэр Хью Мелтем и сэр Бродли Уилсон заросли мхом и годятся только в собеседники папе и маме. А сэр Томас молод, богат, весел, хотя и порядочная образина. Правда, мама говорит, что через месяц-другой знакомства я это перестану замечать. Затем Генри Мелтем, младший сын сэра Хью, – хорош собой, и с ним приятно пококетничать, но раз уж он *младший* сын, то ни для чего другого не годится. Затем мистер Грин, богат, но никто – широкоплечий болван, просто деревенский пентюх. И еще наш достойный священник мистер Хэтфилд – ему бы считать себя моим *смирненным* обожателем, но боюсь, он забыл добавить смирение к запасу своих христианских добродетелей.

– Как? Мистер Хэтфилд был на балу?

– Ну, конечно. А вы полагали, это для него слишком низко?

– Я полагала, он может счесть, что духовному лицу не подобает...

– Вот уж нет! Он не осквернил своего сана танцами, но удержался лишь с большим трудом, бедняжка. Ну, просто умирал от желания пригласить меня на один-единственный танец. И... ах да! – он обзавелся новым младшим священником. Дряхлый старикашка мистер Блай наконец-то получил долгожданный приход и уехал.

– А этот новый какой?

– Ах, такой пентюх! По фамилии Уэстон. Я могу описать его в трех словах: бесчувственный, глупый, тупой урод. Конечно, это четыре слова, но неважно – для него пока достаточно.

Она вновь принялась описывать бал – и как она держалась там, и как вела себя на званых вечерах потом, добавляя всякие подробности касательно сэра Томаса Эшби, а также господ Мелтема, Грина и Хэтфилда, – на них всех она произвела *такое* неизгладимое впечатление!

– Ну, и кто же из этих четырех вам нравится больше других? – спросила я, подавляя третий или четвертый зевок.

– Я их всех терпеть не могу! – ответила она, с кокетливым презрением встряхивая блестящими локонами.

– Полагаю, это означает: они мне все нравятся. Но кто – больше остальных?

– Нет, я правда их не выношу. Только Гарри Мелтем самый красивый, и с ним весело, мистер Хэтфилд самый умный, сэр Томас самый порочный, а мистер Грин самый глупый. Однако если я буду обречена выбирать между ними, то не миновать мне сэра Томаса.

– Как можно! Если он порочен, а вы его не выносите?

– Что он порочен, мне даже нравится. Придает ему интересность. А уж если мне надо выйти замуж, я легче это вынесу, если стану леди Эшби, владелицей поместья Эшби-Парк. Но я бы ни за что не вышла замуж, если бы навсегда могла остаться молодой. Я бы пребывала в одиночестве и так веселилась! Кокетничала бы со всем миром, а когда появилась бы опасность, что меня начнут называть «старой девой», я, чтобы избежать такого бесславия после десяти тысяч побед, разбила бы все их сердца, кроме одного, выбрав самого знатного, богатого и покладистого мужа, о котором мечтали бы пятьдесят девиц, не меньше.

– Ну, пока вы так смотрите на жизнь, то пребывайте в одиночестве. И не выходите замуж, даже чтобы избежать позора стародевичества.

Глава X ЦЕРКОВЬ

– Как, мисс Грей, вам показался новый младший священник? – осведомилась мисс Мэррей, когда мы вернулись из церкви в первое воскресенье после моего возвращения.

– Трудно сказать. Я ведь даже не слышала, как он проповедует.

– Но вы же его видели, ведь правда?

– Да, но я не берусь судить о человеке после одного беглого взгляда на его лицо.

– Ведь он такой урод!

– Мне этого не показалось. В его чертах, по моему мнению, ничего неприятного нет. Впрочем, я обратила внимание только на его манеру читать. По-моему, она превосходна. Во всяком

случае, несравненно лучше, чем манера мистера Хэтфилда. Священное писание он читал так, что каждое слово обретало свой полный смысл. По-моему, самые рассеянные должны были невольно слушать, а самые невежественные понимали все. И молитвы он произносил так, словно не участвовал в службе, а просто молился, благоговейно, из самой глубины сердца.

– О да, только на это он и годится. Свою часть службы он исполняет недурно. Но больше он ни о чем думать не способен.

– Откуда вы знаете?

– Да уж знаю. О таких вещах я сужу превосходно. Вы видели, как он шел по проходу? Шагал прямо, точно был там совсем один, не смотрел ни направо, ни налево и, значит, думал только о том, как бы побыстрее уйти из церкви и поскорее сесть за обед. В его большелобой дурацкой голове другой мысли и быть не могло.

– Полагаю, вам хотелось, чтобы он посмотрел на скамью помещика! – заметила я, смеясь над столь бурным негодованием.

– Вот еще! Я бы возмутилась, позволь он себе такую дерзость, – ответила она, высокомерно вскидывая голову, но, поразмыслив, добавила: – Ну что же! Полагаю, для своего места он не так уж плох, но я рада, что у меня и без него есть чем поразвлечься. Вы заметили, как мистер Хэтфилд поспешил вон из церкви, чтобы успеть получить от меня поклон и посадить нас в карету?

– Да, – ответила я, а мысленно прибавила: «и сочла, что он унижает свой сан, опрометью сбегая с кафедры, лишь бы пожать руку помещику и посадить жену и его дочек в экипаж! А к тому же чуть было неучтиво не заставил меня возвращаться пешком!» Во всяком случае, хотя я стояла прямо перед ним, ожидая своей очереди влезть в карету, он вознамерился тут же поднять ступеньки и захлопнуть дверцу. Когда же ему из кареты сказали, что гувернантка еще не села, он удалился, даже не извинившись, и предоставил закрывать дверцу лакею.

Да, кстати: мистер Хэтфилд ни разу не сказал мне ни слова – как и сэр Хью, и леди Мелтем, и мистер Гарри Мелтем, и его сестрица, и мистер Грин, и его сестры, как все остальные дамы и господа, посещавшие эту церковь. Как и важные гости Хортон-Лоджа.

Днем мисс Мэррей вновь распорядилась подать карету – для себя и сестры: прогуливаться в такой холод по саду ей не хотелось, а кроме того, в церкви наверное будет Гарри Мелтем.

– Потому что, – заметила она, лукаво улыбаясь своему чарующему отражению в зеркале, – все последние воскресенья он посещает церковь с достохвальным усердием. Можно подумать, что он ревностнейший христианин! И вы поезжайте с нами, мисс Грей, я хочу, чтобы вы на него посмотрели. Вы даже вообразить не можете, насколько он стал полированное с тех пор, как побывал за границей. А кроме того, у вас будет случай еще раз увидеть красивого мистера Уэстона и послушать, как он проповедует.

Я послушала, как он проповедует, и получила истинную радость и от евангелической истинности его доктрины, и от вдохновенной простоты его манеры говорить, и от убедительной ясности его слов. Подобная проповедь особенно выигрывала в сравнении с сухими, скучными рассуждениями его предшественника, мистера Блая, которые мы столько времени принуждены были выслушивать, не говоря уж о еще менее поучительных ораторствованиях самого священника. Мистер Хэтфилд проходил, а вернее, пронесся по проходу, точно вихрь, так что нарядная шелковая мантия развевалась у него за спиной и шуршала о дверцы скамей, поднимался на кафедру, точно завоеватель на триумфальную колесницу, опускался на бархатную подушку в нарочито благочестивой позе и несколько минут хранил безмолвие. Затем бормотал вступительную молитву, прожевывая «Отче наш», вставал, стаскивал светло-зеленую перчатку, чтобы прихожане могли полюбоваться его сверкающими перстнями, слегка приглаживал завитые волосы, доставал батистовый платок, декламировал коротенький текст, а может быть, и лишь одну строку Писания, словно заглавие, и наконец излагал свое сочинение, которое в таком качестве можно было бы счесть и недурным, хотя, на мой взгляд, все портили нарочитая ученость и искусственность. Предпосылки строились четко, аргументы излагались логично, но почему-то приходилось сдерживаться, чтобы каким-нибудь движением не выдать неодобрения или скуки.

Любимыми его темами были: церковная дисциплина, ритуалы и церемонии, апостольская преемственность, преступная гнусность любого отступления от догматов, абсолютная необходи-

мость соблюдения всех форм церковных обрядов, нетерпимая самоуверенность тех, кто пытается самостоятельно что-то решать в вопросах веры или руководствуется собственным истолкованием. Иногда, чтобы угодить наиболее состоятельным своим прихожанам, он утверждал необходимость почтительного повиновения бедных богатым, поддерживая свои утверждения и призывы ссылками на отцов церкви, которых он, видимо, знал куда лучше, чем апостолов и евангелистов, и считал равными этим последним, если не выше их. И наконец, было у него в запасе поучение особого рода, которое некоторые могли бы счесть превосходным, но суровое и беспросветное, рисовавшее Всевышнего грозным надсмотрщиком, а не благим отцом. Слушая его, я порой ловила себя на мысли, что он говорит с глубокой искренностью, словно отбросил прежнюю суетность и проникся великим благочестием – мрачным, взыскательным, но истовым. Эта иллюзия, впрочем, быстро рассеивалась, когда, выходя из церкви, я слышала, как он оживленно беседует с кем-нибудь из Мелтемов, Гринов или же с Мэрреями, то посмеиваясь над собственной проповедью и выражая надежду, что он дал канальям-простолюдинам пищу для размышлений, то злорадствуя, что старая Бетти Холмс не решится больше баловать свою грешную плоть и выбросит трубку, единственное ее утешение за последние тридцать лет, а Джордж Хиггинс побоится теперь выходить гулять вечером в день Господень, в душе же Томаса Джексона возникнут язвляющие сомнения, и он перестанет с прежней твердостью уповать на радостное воскресение в Судный день.

Мне оставалось только заключить, что мистер Хэтфилд был одним из тех кто «вяжет воедино тяжкое и непосильное бремя и возлагает его на плечи людские, сам же и пальцем не пошевелит» и кто «лишает слово Божье силы, толкуя его на свой лад и провозглашая заветами заповеди человеческие». И я с радостью заметила, что новый его помощник, насколько можно судить, ни в чем с ним не сходен.

– Ну, мисс Грей, что вы думаете о нем теперь? – спросила мисс Мэррей, едва мы сели в карету после службы.

– Все еще ничего плохого.

– Ничего плохого? – повторила она с недоумением. – О чем вы?

– То есть не хуже, чем раньше.

– Не хуже! Еще бы! Он же теперь намного полированнее.

– Да-да, намного, – ответила я, сообразив, что спрашивала она вовсе не про мистера Уэстона, а про Гарри Мелтему, который после конца службы поспешил заговорить с барышнями, на что никогда бы не решился в присутствии их маменьки, а затем учтиво посадил их в карету. В отличие от мистера Хэтфилда, он не попытался захлопнуть передо мной дверцу, однако и не предложил мне свою руку (от которой я, разумеется, отказалась бы), но стоял, сияя улыбками, перед дверцей и продолжал болтать с барышнями, а затем приподнял шляпу и удалился восвояси. По правде говоря, я не обратила на него ни малейшего внимания. Однако барышни оказались куда наблюдательнее и принялись обсуждать не только его внешность, слова и поступки, но каждую черту лица и каждый предмет одежды.

– Я тебе его не уступлю, Розали, – заявила под конец мисс Матильда. – Он мне нравится, и я знаю, что мне будет очень весело кататься с ним верхом.

– Бери его себе, сделай милость, – ответила мисс Мэррей притворно безразличным тоном.

– Я же вижу, что он мной восхищается не меньше, чем тобой, ведь правда, мисс Грей?

– Не знаю. Мне его чувства неизвестны.

– Все равно это так.

– Моя милая Матильда! Никто никогда тобой восхищаться не будет, если ты не отучишься от грубых выражений и манер.

– Чепуха! Гарри Мелтему такие манеры нравятся. И папиным друзьям тоже.

– Что же, чаруй себе на здоровье младших сыновей и стариков, но, право, больше никому ты понравиться не можешь.

– Ну и пусть. Я за деньгами не гонюсь, как вы с мамой. Если у моего мужа хватит средств содержать несколько хороших лошадей и гончих, мне ничего другого не надо. К дьяволу все остальное!

– Однако, если ты не перестанешь употреблять такие выражения, ни один настоящий

джентльмен к тебе и близко не подойдет. Право, мисс Грей, как вы это допускаете?

– А как я могу воспрепятствовать, мисс Мэррей?

– И ты очень ошибаешься, Матильда, если думаешь, будто Гарри Мелтем тобой восхищается. Поверь мне, это все твои выдумки.

Матильда уже начала что-то гневно отвечать, но, к счастью, карета остановилась у крыльца, лакей открыл дверцу и опустил ступеньки.

Глава XI БЕДНЯКИ

Теперь у меня осталась только одна ученица, – и хотя с ней у меня было больше хлопот, чем с тремя-четырьмя обыкновенными детьми, и хотя ее сестра все еще занималась со мной немецким и рисованием, все же впервые с тех пор, как я возложила на себя ярмо гувернантки, у меня появилось много досуга. Я тратила его на переписку с родными, на чтение, музыку, пение и прочее, а также на прогулки по парку и соседним лугам – с моими ученицами, если их привлекало мое общество, а в противном случае – одна.

Нередко, если у них не находилось более приятного занятия, барышни посещали лачуги арендаторов своего отца, то ли чтобы собрать дань лестного почтения, то ли чтобы послушать истории о прошлом и самые свежие сплетни, на которые не скупилась болтливые старухи, то ли чтобы испытать более чистое удовольствие, видя, какую радость доставляют беднякам их приветливые улыбки и скромные подарки, стоившие им так мало и принимаемые с такой благодарностью! Иногда сестры приглашали меня пойти с ними, а иногда, пообещав что-то и ленясь сдержать свое обещание, посылали меня одну выполнить его за них – отнести какое-нибудь лакомство или почитать Библию немощной или очень благочестивой старушке. Так у меня завязались знакомства в убогих хижинах, и иногда я навещала их по собственному почину.

Ходить туда одной мне нравилось больше, чем сопровождать барышень (обеих или одну), потому что они – главным образом из-за неправильного воспитания – держались с людьми ниже себя по положению так, что мне становилось стыдно за них. Они никогда в мыслях не ставили себя на их место, а потому смотрели на них как на существа совсем иного мира и не щадили их чувств: наблюдали, как они едят, обмениваясь невежливыми замечаниями о их пище и манере есть; смеялись над их простодушием и местными выражениями, так что те начинали опасаться даже рот открыть; называли почтенных пожилых людей в лицо старыми дураками и дурами – и все это без малейшего желания обидеть. Я видела, как часто подобное поведение обижало и сердило обитателей хижин, хотя страх перед «знатью» мешал им высказать свое возмущение вслух, но барышни ничего не замечали. Они полагали, что эти люди, раз они бедны и необразованны, должны быть тупыми и звероподобными. И те, кто стоят неизмеримо выше их и нисходят до разговоров с ними, даря им шиллинги и полукроны, а иной раз и старую одежду, обретают право для собственного развлечения делать из них посмешище. Бедняки же обязаны их обожать как ангелов света и добра, озаряющих своим присутствием их убогие жилища и осыпающих их благодеяниями.

Я много раз по-всякому старалась рассеять это заблуждение моих учениц, не задев их гордости (которая была весьма чувствительной и долго оставалась возмущенной), но без видимого результата. И право, не знаю, которая вела себя недостойнее. Матильда держалась грубо и бесцеремонно, однако от Розали, как от старшей и с такими благовоспитанными манерами, ничего подобного, казалось, ожидать не следовало, однако она бывала бесцеремонной и бестактной, как балованное десятилетнее дитя.

Как-то в ясный день на исходе февраля я прогуливалась по парку, наслаждаясь тройным блаженством – одиночеством, книгой и прекрасной погодой. Мисс Матильда отправилась на ежедневную верховую прогулку, а мисс Мэррей и ее маменька уехали в карете наносить утренние визиты. Но тут же мне пришло в голову, что надо отказаться от эгоистических радостей, покинуть парк под великолепным балдахином голубого неба, где в еще безлистных ветвях поет западный ветер, в овражках под яркими лучами солнца дотаивают снежные венцы и грациозные олени пощи-

пывают траву, уже обретающую весеннюю сочность и зелень, – покинуть всю эту роскошь и навесить Нэнси Браун, вдову, чей единственный сын весь день трудился на поле, она же последние недели страдала от воспаления век, что мешало ей читать, к большому ее горю, так как она отличалась серьезным складом ума. Я, как и ожидала, застала ее одну в тесной темной хижине с пропитанным дымом душным воздухом, но очень чистенькой и прибранной. Нэнси прилежно вязала у очага, где в кучке углей дотлевала небольшая головешка, а на подушке из мешковины у ее ног расположилась верная ее приятельница кошка, обвив бархатные лапы пушистым хвостом и сонно глядя прищуренными глазами на прогнутую решетку.

– Здравствуйте, Нэнси. Как вы себя чувствуете?

– А ничего, мисс! Глазам-то лучше не стало, а вот на душе полегчало, – сказала она, вставая и приветливо мне улыбаясь. Я обрадовалась, потому что Нэнси страдала религиозной меланхолией, и поздравила ее с такой переменой. Она согласилась, что поздравлять есть с чем, – она «Бога возблагодарила».

– Коли Господу угодно будет сохранить мне глаза, чтобы я снова могла читать Библию, так уж я счастливей самой королевы буду! – добавила она.

– Будем уповать на Господню милость, Нэнси, – сказала я. – А пока я буду приходить читать вам, когда у меня выпадет свободная минута.

Радостно меня благодаря, бедная женщина хотела было придвинуть мне стул, но я предупредила ее намерение, и она, помешав в очаге, положила на угасающие угли несколько тонких чурок, сняла с полки свою потрепанную Библию, старательно обтерла ее и подала мне. Я спросила, что она хотела бы послушать.

– Коли вам все равно, мисс Грей, так я бы послушала ту главу из первого послания святого апостола Иоанна, где говорится: «Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем».

Я быстро нашла эти слова в четвертой главе, но когда дошла до седьмого стиха, Нэнси перебила меня со всяческими извинениями за такую вольность и попросила перечитать с начала, только очень медленно, чтобы она могла впитать каждое слово и обдумать его.

– Вы уж извините меня, мисс. Я ведь женщина простая.

– Самые великие мудрецы, – ответила я, – могут по часу размышлять над каждым стихом, и это пойдет им только на пользу. Да и мне приятнее читать не торопясь, а не спешить.

И я прочла главу медленно, но со всей выразительностью, на какую была способна. Нэнси слушала затаив дыхание, а когда я кончила, не знала, как меня и благодарить. Я молчала, чтобы дать ей время поразмыслить, но она, к некоторому моему удивлению, вдруг спросила, нравится ли мне мистер Уэстон.

– Не знаю, – ответила я, растерявшись от неожиданности. – Проповедует он, по-моему, очень хорошо.

– Верно, верно. И говорит хорошо.

– Да?

– Очень хорошо говорит. Так вы, может, с ним еще не познакомились. Ну, чтобы поговорить?

– Нет. Мне вообще разговаривать не с кем, кроме барышень.

– Хорошие они, добрые барышни, да только говорить, как он, не умеют.

– Значит, он навещает вас, Нэнси?

– Да, мисс. И я уж так-то ему благодарна. Он нас всех тут навещает куда чаще, чем прежде мистер Блай или сам священник. И мы рады, очень это утешительно. А про мистера Хэтфилда такого не скажешь: тут его многие боятся, так сами и говорят. Войдет в дом, говорят, и сразу к чему-нибудь да придерется. Еще с порога начинает их ругать. Но может, уж такая у него обязанность объяснять им, что не так? И он все больше приходит, чтобы попрекнуть, что вот, дескать, церковь не посещают, или на колени с другими не опускаются, или в методистскую молельню ходить повадились, или там еще что. Хотя он меня особо-то не бранил никогда. Он у меня раз-другой побывал еще до мистера Уэстона. На душе у меня такая тяжесть лежала, да и разболелась я, ну, и посмела позвать его к себе – так он сразу пришел. У меня совсем черно на душе было, мисс Грей, –

слава Господу, теперь это прошло, – даже Библию брала, и никакого утешения не находила. Вот та самая глава, которую вы сейчас читали, очень она меня тревожила: «Кто не любит, тот не познал Бога»! Так-то мне страшно было, что я ни Бога, ни человека не люблю, как должно. И не могу, как ни стараюсь. А в предыдущей-то главе сказано: «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха». И тот стих, где говорится, что Любовь – это Закон. Их еще много таких, мисс. Я бы вас утомила, начни я их все перечислять. Но каждый будто обрекал меня, показывал, что не иду я праведным путем. А я не знала, как вступить на этот путь-то, вот и послала моего Билла попросить мистера Хэтфилда, может, будет он так добр, заглянет как-нибудь. Ну, он пришел, и я все ему рассказала, все мои беспокойства.

– И что он вам сказал, Нэнси?

– Он-то, мисс, вроде как посмеялся надо мной. Может, мне померещилось, только он как есть присвистнул и, вижу, улыбнулся вроде бы. А сам говорит: «А, вздор это! Вы, голубушка, к методистам ходите». А я отвечаю, что ноги моей в их молельне не было. Ну, а он и говорит:

«Вы лучше в церковь, – говорит, – ходите послушать верное толкование текстов, чем корпеть над Библией дома».

А я отвечаю, что всегда в церковь ходила, пока здоровья хватало. Только в такие холода мне туда не дойти, уж очень риматис меня замучил. А он говорит:

«Так доковыляйте до церкви, и риматис ваш пройдет. Нет, – говорит, – для риматиса лечения лучше хорошей прогулки. По дому-то ходите, так что же вам в церковь пойти мешает? А правда в том, – говорит, – что любите вы себя нежить. Всегда легко подыскать предлоги, чтобы не исполнять свой долг!»

Только знаете, мисс Грей, не так это было. Но я все равно сказала ему, что попробую. «Только, сэр, – говорю, – от того, что я в церковь схожу, лучше-то я не стану. Я хочу от своих грехов избавиться, почувствовать – очистилась я от них, и в сердце у меня любовь к Богу. А если я дома Библию читаю и молюсь, а толку нет, так какую я пользу получу, если пойду в церковь?»

«Церковь, – говорит, – место, предназначенное Богом для поклонения ему. И ваш долг посещать ее как можно чаще. Если вы нуждаетесь в утешении, то ищите его на путях долга...» Он еще много чего говорил, я все красивые его слова-то не упомяну. Да все выходило одно: должна я церковь посещать как могу чаще, и приносить с собой молитвенник, и повторять что положено за пономарем, вставать, на колени становиться, садиться как положено, и причащаться, да почаще, и слушать его и мистера Блая, когда они с кафедры проповедуют. И тогда все образуется. Буду исполнять свой долг, ну и снизойдет на меня в свой час благодать.

«А не обрящете утешения и после этого, – говорит, – то всему конец».

«Значит, тогда, сэр, – говорю, – я нераскаянной выйду?»

«Так ведь, – отвечает, – коли вы все делаете, чтобы попасть на небеса, и не можете, значит, вы одна из тех, кто подвизается войти сквозь тесные врата и не возмогут».

А потом спрашивает, видела ли я утром барышень из господского дома, а как я ответила, что они вроде по Мишистой дороге прогуливались, так он мою бедную кошечку ногой к стене отшвырнул и давай за ними, веселый такой, будто жаворонок. А мне таково грустно стало. От его последних слов сердце будто свинцом налилось. Совсем я извелась.

Только я по его сделала. Думала, он хотел посоветовать, как лучше, хоть и говорил так-то сурово. Да только, мисс, он молодой и богатый, а уж где таким понять, о чем бедная старуха вроде меня думает. Но я все равно по его делала... Но может, я, мисс, вам своей болтовней докучаю?

– Что вы, Нэнси! Говорите, говорите. Расскажите мне все.

– Ну, риматис меня вроде бы маленько отпустил, уж не знаю, от того ли, что я в церковь ходить начала, или от другого от чего. И тут застудила я глаза, очень уж морозное воскресенье выдалось. Воспаление-то не враз началось, а мало-помалу... Да что это я про глаза-то? Я ведь о муке своей душевной толкую, и, правду сказать, мисс Грей, не стало легче и в церкви, ну, разве самую малость. Здоровье у меня вроде поправилось, но душа не излечилась. Слушаю священников, слушаю, молитвенник читаю, читаю, только все выходит аки медь звенящая или кимвал звучащий. Проповеди не понимаю, а молитвенник вживе показывает, какая я грешная: читаю благие слова, только сама-то лучше не делаюсь, да еще частенько чувствую, что урок это тяжкий и труд непо-

сильный, а не честь великая и спасение, как добрым-то христианам положено. Как будто пусто во мне и темно. И слова-то эти ужасные: «Многие подвизаются войти и не возмогут»! Они будто иссушили меня всю. А потом как-то мистер Хэтфилд проповедовал о причастии, и слышу, он говорит: «Если есть среди вас такие, кто сам не в силах успокоить свою совесть и нуждается в утешении или совете, так пусть придут ко мне или другому скромному и ученому служителю Божьему и откроют свою печаль». И вот на следующее воскресенье пришла я в церковь загодя, взошла в ризницу да и опять заговорила с мистером Хэтфилдом, уж не знаю, как и смелости набралась. Только думаю, уж коли моей душе погибель грозит, тут не до суеты всякой. Только он сказал, что ему сейчас некогда со мной растабарывать. «И, – говорит, – больше мне вам нечего сказать, кроме того, что я уже сказал. Примите причастие, исполняйте свой долг, а уж если это не поможет, так ни от чего другого помощи не будет. И, – говорит, – больше мне не докучайте!»

Я и ушла. И слышу, мистер Уэстон – мистер Уэстон тоже там был, самое, значит, первое его воскресенье в Хортоне. Он уже облачение надел и теперь мистеру Хэтфилду помогал...

– А дальше что, Нэнси?

– Я, значит, слышу, спрашивает он у мистера Хэтфилда, дескать, кто такая, а тот отвечает: «Старая дура и ханжа».

Очень меня это удручило, мисс, но я пошла, села на свою скамью и попробовала долг свой исполнять, как раньше. Только в душе, ну, нет никакого мира. Я и причастие приняла, а самой чудится, это я свою погибель заедаю и запиваю. Так и домой вернулась в удручении. А наутро и прибраться не успела... По правде сказать, мисс, не лежало у меня сердце подметать, кастрюли оттирать да глянec наводить, сижу себе посреди грязищи, и кто, вы думаете, входит? Мистер Уэстон. Я за веник, я за кастрюли, а сама думаю, сейчас он меня, как мистер Хэтфилд, прищучит за лень и безделье. Не тут-то было. Он мне только доброго утра пожелал, обходительно так. Я мигом стул для него обтерла и в очаге размешала, а у самой-то те слова в ризнице так в ушах и звенят. «Зачем бы, сэр, – говорю, – вы побеспокоились, в такую даль пойти навестить старую дуру и ханжу?» Он вроде бы растерялся. Но принялся меня уговаривать, что священник так в шутку сказал, но видит, зря он это, ну и говорит: «Напрасно вы, Нэнси, так к сердцу приняли. Мистер Хэтфилд был не в духе. Кто из нас безгрешен? Вы же знаете, что сам Моисей говорил необдуманно. А теперь, если у вас есть время, то сядьте и расскажите мне про ваши сомнения и страхи, и я попробую рассеять их».

Села я супротив него. Второй-то раз всего его и видела, мисс Грей, а он помоложе мистера Хэтфилда будет. И с лица не такой красивый, строгий даже. Только говорил так-то ласково. Вдруг кошечка ему на колени, что с нее и взять-то, а он ее только погладил и улыбнулся. Ну, думаю, не так уж все худо. Мистер Хэтфилд ее отшвырнул, будто побрезговал. А ведь что тварь понимать может, мисс Грей? Она же не человек.

– Да, да, Нэнси. Но что сказал мистер Уэстон?

– А ничего. Вот меня слушал спокойно да терпеливо, и никакой в нем насмешки. Ну, я все ему и выложила, вот как вам, только поболее.

А он говорит: «Ну что же, мистер Хэтфилд правильно сказал, когда посоветовал вам усердно исполнять свой долг, но, конечно, он не имел в виду, что вам для этого надо только в церковь ходить. Для истинных христиан этого мало. Он просто полагал, что в церкви вы легче узнаете, из чего этот долг состоит, и научитесь находить радость в том, что прежде считали тяжким трудом и обузой. А если бы попросили его истолковать вам слова, которые вас тревожат, он, разумеется, объяснил бы, что тем, кто подвизается войти и не может, мешают их грехи. Вот так человек с большим мешком на плечах мог бы попробовать войти в узкую дверь, и убедился бы, что для этого должен он свой мешок оставить у порога. Но у вас, Нэнси, вряд ли, найдутся грехи, от которых вы не захотели бы поскорей избавиться!»

«Правду вы говорите, сэр», – отвечаю. «Вы ведь знаете, – говорит он, – первую и величайшую заповедь, а также вторую, ее подкрепляющую? Те две заповеди, на которые опираются все законы и речения всех пророков? Вы говорите, что не можете любить Бога. Однако, мне кажется, если вы как следует подумаете, кто Он и что, так поймете, что есть в вас эта любовь и иначе быть не может. Он – ваш Отец, ваш лучший друг. Все блага, все, что есть хорошего, приятного, полез-

ного, исходит от Него, а все дурное, все, что у вас есть причины ненавидеть, чего страшиться, исходит от дьявола, не только нашего, но и Его врага. И Бог явился во плоти, дабы разрушить козни дьявола. Одним словом, Бог есть Любовь, и чем больше любви в наших сердцах, тем ближе мы к Нему, тем больше частица Его духа в нас».

«Так-то, сэр, — отвечаю, — думается мне, я и правда Бога люблю, но как мне ближних моих любить, коли среди моих соседей всякие люди есть — и злят-то они меня, и перечат мне, а уж грешны!»

«Это может показаться трудным, — говорит он, — любить ближних, в которых столько дурного и чьи недостатки пробуждают зло, затаившееся в нас самих. Но помните: их создал Он, и Он их любит. А всякий, любящий родившего, любит и рожденного от него. Если Бог так возлюбил нас, что Сына своего единородного послал умереть за нас, то и нам должно возлюбить друг друга. Если вы не в силах испытывать теплого чувства к тем, кто небрегает вами, то можете хотя бы попытаться во всем поступать с ними, как хотите, чтобы они поступали с вами. В ваших силах жалеть их слабости, и прощать им обиды, и делать добро тем, кто вокруг вас. И если вы приучите себя к этому, то сами старания ваши пробудят в вас некоторую любовь к ним, не говоря уж о благодарности, которой ваша доброта отзовется в их сердце, пусть даже мало в них хорошего. Если мы любим Бога и хотим служить Ему, так попытаемся уподобиться Ему, следовать Его заветам, трудиться во славу Его, — а она в благе человеческом, дабы скорее утвердилось на земле Его царствие, а оно мир, и счастье и в человеках благоволение. Какими немощными ни кажемся мы себе, делая всю свою жизнь посильное добро, даже самые смиренные среди нас поспособствуют утверждению его. Так будем же пребывать в любви, дабы Он мог пребывать в нас, а мы в Нем. Чем более счастья будем мы дарить, тем больше его получим даже в этой юдоли и тем больше будет наша награда на небесах, где отдохнем мы от трудов наших». Думается мне, мисс, это точные его слова, я ведь все время над ними размышляла. А потом он взял Библию и начал читать — немножко оттуда, немножко отсюда, и так-то хорошо объяснял, что мне все ясно стало, как Божий день, и будто вдруг свет озарил мою душу, а уж на сердце потеплело! Об одном я только жалела, что Билл его послушать не мог и никто другой, чтобы возликовать вместе со мной. Чуть он ушел, заходит Ханна Роджерс, соседка моя, и зовет, чтобы я ей со стиркой подсобила. А я говорю: не могу. У меня еще картошка для обеда не чищена и посуда с утра немытая стоит. Вот она и давай меня отчитывать, что и неряха-то я, и лентяйка. Сперва-то меня досада взяла, но только я ей словечка плохого не сказала. И так спокойно толкую, что ко мне новый священник приходил, а я управлюсь побыстрее и еще успею ей помочь. Тут она помягчала немножко, и я на нее сердца не держу, ну мы и поладили по-хорошему. Вот так-то, мисс Грей, «кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость».

— Совершенно верно, Нэнси. Жаль только, что не всегда мы это помним.

— Что так, то так.

— А еще мистер Уэстон вас навещал?

— Да, и часто. А как глаза у меня поплошали, так он садился на полчаса почтить меня. Только, мисс, ему и других навещать надо, и другие дела у него есть, благослови его Бог! А какую проповедь он прочел в следующее воскресение! Текст взял «Приидите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою Вас» и следующие два святых стиха. Вы-то, мисс, тогда в отъезде были, но я такая счастливая сделалась! И сейчас я, слава Богу, счастлива. И так-то мне теперь приятно чем-ничем соседкам услужить, ну, что там слепая старуха может! А они мне лаской отвечают, как он и толковал. Вот видите, мисс, я носки вяжу. Для Томаса Джексона. Сварливый он старик, и мы с ним все бранились. А иной раз чуть в волосы друг другу не вцеплялись. И вот думаю, дай-ка я ему теплые носки свяжу, и как начала их, так все его, бедного старика, жалею. Ну, точь-в-точь выходит, как мистер Уэстон говорил.

— Очень рада, Нэнси, что вы счастливы и рассуждаете так разумно. Однако мне пора, не то я опоздаю. — Я попрощалась с ней и ушла, обещав прийти снова, как только выпадет свободная минута. И я почувствовала себя почти такой же счастливой, как она.

В другой раз я зашла почтить бедному батраку, лежавшему в последней стадии чахотки. Барышни навестили его, и каким-то образом у них было исторгнуто обещание прийти и почтить

ему. Но это же такое обременительное занятие! И они попросили меня заменить их. Я охотно согласилась, и вновь с удовольствием выслушала похвалы мистеру Уэстону как от больного, так и от его жены. Батрак сказал мне, что получает большое утешение и не меньшую пользу от посещений «нового священника», который часто к нему заходит и «совсем не то, что мистер Хэтфилд», который прежде порой заглядывал к нему и всегда требовал, чтобы дверь хижины была открыта настежь. Он желал дышать свежим воздухом и не думал, как это может повредить страдальцу. Торопливо открывал молитвенник, быстро прочитывал молитву о болящих и поспешно удалялся – кроме тех случаев, когда считал нужным сделать суровый выговор несчастной жене или отпустить какое-нибудь необдуманное, если не сказать – бессердечное, замечание, от которого несчастным становится только горше.

– А вот мистер Уэстон, – сказал больной, – молится со мной вместе и разговаривает ласково так. А то читает и сидит рядом, точно брат родной.

– Верно, верно! – воскликнула его жена. – Вот недели три назад увидел он, как Джим весь дрожит, а в очаге и огня-то нет, и спрашивает: весь уголь у вас вышел? Я говорю вышел, а купить-то еще нам не по карману. Да я, мисс, и не думала помощи у него попросить. А он наутро прислал нам мешок угля. Вот с тех пор огонь у нас так и пылает. Зимой уж как это кстати! И он, мисс Грей, со всеми так. Зайдет больного навестить и замечает, чего в доме недостает, и коли самим им этого не купить, он им присылает. Другой-то на его месте не стал бы так себя обделять, – у него и на себя не очень хватает. Знаете, мисс, он ведь живет на то, что ему мистер Хэтфилд платит, и говорят, это гроши сущие.

Тут я с непонятным торжеством вспомнила, как часто прелестная мисс Мэррей называла его вульгарным пентюхом, потому что часы у него были серебряные, а одежда не столь блистала новизной, как у мистера Хэтфилда.

Вернулась я, чувствуя себя очень счастливой, и поблагодарила Бога за то, что мне есть о чем думать, отвлекаясь от утомительного однообразия и тоскливого одиночества моей жизни. Да, я чувствовала себя совсем одинокой. Из месяца в месяц, из года в год, если не считать коротких поездок домой, я не видела ни единого существа, которому могла бы открыть сердце или доверить заветные мысли, зная, что встречу сочувствие или хотя бы понимание. Не у бедной же Нэнси было мне искать истинного общения, бесед, которые делали бы нас взаимно лучше, умнее или счастливее, чем прежде! Ни единой родственной души! Только избалованные, испорченные дети и невежественные, своевольные девицы. Каким бесценным счастьем бывали минуты и краткие часы, которые я, устав от их бесконечных капризов, могла провести в уединении! Необходимость довольствоваться только таким обществом была большой бедой и сама по себе, и из-за неизбежных ее следствий. Извне я не получала никаких новых идей, никаких свежих мыслей, а те, что приходили в голову мне самой, тут же бесславно гасились либо обречены были зачахнуть, так как увидеть свет они не могли.

Известно, что тесное общение оказывает большое взаимное влияние на образ мышления и манеры. Люди, чьи поступки мы непрерывно наблюдаем, чьи слова все время звучат у нас в ушах, непременно заставят нас, пусть и против нашей воли, поступать и говорить на их лад – медленно, постепенно, быть может, неуволимо, но такая перемена произойдет. Не берусь судить, как велика эта неуволимая сила общения, но случись цивилизованному человеку провести десяток лет среди дикарей, то, по моему твердому убеждению, к концу этого срока (если только ему не доставит силы просветить их) он и сам станет дикарем, хотя бы отчасти. Мне же не удавалось сделать моих учениц лучше, и меня томил страх, что они сделают меня хуже, мало-помалу сведя мои чувства, привычки, способности до своего уровня, однако не одарив меня своей беспечностью и веселой живостью.

Мне уже казалось, что мой ум тупеет, сердце черствеет, душа съезживается, и я трепетала при мысли, что мой нравственный слух притупится, я перестану четко различать добро и зло и все лучшее во мне в конце концов погибнет, не вынеся губительного воздействия такого образа жизни. Вокруг меня смыкались грубые земные испарения, заволакивали туманом мое внутреннее небо, и когда вдруг появился мистер Уэстон, точно утренняя звезда возшла над моим горизонтом, спасая меня от ужаса непроглядной тьмы. Я радовалась, что у меня теперь есть предмет для созер-

цания более высокий, а не более низкий, чем я. И с восторгом убедилась, что мир вовсе не состоит только из Мэрсеев, Хэтфилдов, Эшби и им подобных и что совершенство человеческой натуры вовсе не плод моего воображения. Когда мы узнаем о человеке что-то хорошее и ничего дурного, так легко и приятно вообразить побольше! Короче говоря, нет никакой нужды анализировать мои мысли, но теперь воскресенье стало по-особому чудесным (с душным уголком кареты я уже почти свыклась), потому что мне нравилось слушать его... и нравилось смотреть на Него. Я видела, конечно, что внешность его не отличается не только красотой, но и тем, что называется приятностью, однако уродом он не был вовсе.

Рост лишь чуть-чуть выше среднего... подбородок слишком тяжелый, чтобы лицо можно было бы счесть красивым, – однако я видела в этом свидетельство сильного характера. Темно-каштановые волосы он не завивал, на манер мистера Хэтфилда, а просто зачесывал набок, открывая широкий белый лоб; брови у него, пожалуй, были слишком густыми, но под этими темно-каштановыми бровями сверкали глаза удивительной силы – карие, не очень большие, посаженные несколько глубоко, но удивительно ясные и выразительные. Твердо сжатые губы тоже говорили о сильном характере, негибкой воле и привычке размышлять. Когда же он улыбался... но нет, пока я говорить об этом не буду, так как тогда я еще ни разу не видела, чтобы он улыбнулся. По правде говоря, его облик не наводил на мысль о склонности улыбаться и плохо вязался с тем, о чем рассказывали обитатели бедных хижин. Мое мнение о нем сложилось почти сразу, и вопреки поношениям мисс Мэррей я была убеждена, что это человек большого ума, неколебимой веры, пылкого благочестия, но серьезный и строгий. Когда же я узнала, что к прочим его прекрасным качествам надо прибавить еще и истинное милосердие, и мягкую тактичную доброту, открытие это восхитило меня еще больше оттого, что явилось полной неожиданностью.

Глава XII ЛИВЕНЬ

Снова я навестила Нэнси Браун в середине марта – хотя в течение дня у меня выпадало немало свободных минут, я очень редко могла считать своим хотя бы час, так как в доме все зависело от прихотей мисс Матильды и ее сестры, и ни о каком установленном заранее порядке не могло быть и речи. Если я не была с ними или не выполняла их поручений, мои чресла, так сказать, все время оставались препоясаны, обувь моя – на ногах моих, а посох мой в руках моих, ибо любое промедление, когда меня требовали, выглядело серьезнейшим и неизвинимым проступком не только в глазах барышень и их маменьки, но и горничной, которая, запыхавшись, прибегала позвать меня: «Идите в классную, мисс, и *сейчас же* – барышни ждут-с!!!» Ужас из ужасов: подумать только – ждут свою гувернантку!!!

Но на этот раз я не сомневалась, что часа два будут в полном моем распоряжении: Матильда намеревалась совершить долгую верховую прогулку, а Розали уже оделась, чтобы ехать на званый обед к леди Эшби. И я со спокойным сердцем поспешила в убогий приют вдовы, где застала ее в большой тревоге: кошечка с самого утра куда-то пропала. Я принялась утешать ее, рассказывая все истории о любви этих животных к бродяжничеству, какие только приходили мне на память.

– Лесников я боюсь, мисс, а так-то что уж? Были бы дома барчуки, не миновать, они на нее собак науськали бы, на бедняжку мою. Сколько они кошек затравили, и не перечесать! Ну, хоть от этой тревоги Бог меня избавил.

Глаза у Нэнси болели меньше, но воспаление еще далеко не прошло. Она хотела сшить сыну праздничную рубашку, но, сказала она мне, ей все время приходится останавливаться, чтобы дать глазам отдохнуть, и работа продвигается медленно, хотя ему, бедному, и выйти-то не в чем. Поэтому я предложила немного помочь ей с шитьем, когда почитаю – смеркнется еще не скоро, а я до вечера свободна. Она с благодарностью согласилась.

– Вот и посидите со мной, мисс, – сказала она. – А то мне без кошечки тоскливо одной-то.

Но когда я кончила читать и уже обметала половину шва, укрепив огромный медный наперсток Нэнси на пальце с помощью клочка бумаги, в хижину внезапно вошел мистер Уэстон с пропавшей кошечкой в руках. Вот тут-то я и узнала, что он умеет улыбаться и что улыбка у него

очень привлекательная.

– Нэнси, а вы у меня в долгу... – начал он, но тут заметил меня и легким поклоном признал мое присутствие (для мистера Хэтфилда и любого другого джентльмена я оставалась бы невидимой). – Мне удалось спасти вашу кошку от рук, а вернее, от дробы лесника мистера Мэррея.

– Да благословит вас Бог, сэр, – признательно воскликнула старушка, со слезами радости забирая у него свою любимицу.

– Последите за ней, – сказал он. – Лесник поклялся, что подстрелит ее, если еще раз увидит поблизости от кроличьего садка. Я и сегодня только-только успел его остановить... Извините, мисс Грей, но зарядил дождь, – перебил он себя, увидев, что я отложила рубашку и намереваюсь встать, чтобы попрощаться. – Не беспокойтесь, я зашел только на минуту.

– Обои вы останетесь, пока дождик не перестанет, – заявила Нэнси и, помешав в очаге, придвинула к нему еще один стул. – Места всем хватит.

– Спасибо, Нэнси, но мне тут светлее, – ответила я, садясь с работой у окна, где, к счастью, она позволила мне спокойно оставаться, пока сама щеткой смахивала кошачьи волоски с сюртука мистера Уэстона, отряхивала его шляпу от дождевых капель и наливала кошечке молока, не умолкая при этом ни на миг – благодарила своего духовного наставника за спасение бедняжки, диву давалась, как та умудрилась отыскать кроличий садок, и оплакивала возможные последствия такого открытия. Он слушал ее с тихой добродушной улыбкой и, наконец сдавшись на ее уговоры, сел у очага, повторив, что зашел всего на минуту.

– Мне надо еще кое-кого навестить, – сказал он, – а вам, как вижу (тут он поглядел на стол, где лежала открытая Библия), уже сегодня почитали.

– Да, сэр. Мисс Грей уже потрудились, прочла мне главу, и вот помогает теперь с рубашкой Билла... Только боюсь, она там простынет. Вы бы не пересели к огню, мисс?

– Нет, спасибо, Нэнси. Мне совсем не холодно. И я пойду, как только дождь прекратится.

– Да как же, мисс? Вы ведь сказали, что до сумерек у меня погостите! – воскликнула неугомонная старуха, и мистер Уэстон схватил свою шляпу.

– Да что вы, сэр! – вскричала Нэнси. – Погодите, ведь льет как из ведра!

– Но мне кажется, я мешаю вашей гостье сесть у огня.

– Вовсе нет, мистер Уэстон, – ответила я, надеясь, что ложь такого рода вполне простительна.

– С чего бы, сэр? – подхватила Нэнси. – Места же хоть отбавляй.

– Мисс Грей, – начал он почти шутливым тоном, как будто желая переменить тему и не находя, чтобы такое сказать. – Может быть, вы при случае помирите меня со сквайром. Кошку Нэнси я спас у него на глазах, и он не слишком одобрил мой подвиг. Я объяснил, что, по моему убеждению, ему гораздо легче было бы лишиться всех своих кроликов, чем Нэнси – ее питомицы. За такое дерзкое предположение он удостоил меня градом не слишком изысканных выражений, и, боюсь, я ответил ему с излишней горячностью.

– Господи помилуй, сэр! Да неужто вы из-за моей кошечки со сквайром поссорились? Он ведь не терпит, чтобы ему перечили, сквайр-то.

– Пустяки, Нэнси. Я просто шучу. Ничего слишком уж неучтивого я не сказал, а мистер Мэррей, всплыв, видимо, не привык выбирать выражений.

– Что так, то так, сэр.

– Ну, а теперь мне и правда пора. Пройти надо еще милую, а вы же не хотите, чтобы я возвращался в темноте. Да и дождь поутих. Так всего хорошего, Нэнси. Всего хорошего, мисс Грей.

– Всего хорошего, мистер Уэстон. Но помирить вас с мистером Мэрреем я вряд ли могу, так как почти его не вижу и уж вовсе с ним не разговариваю.

– Неужели? Ну, что поделаешь! – ответил он со скорбной покорностью судьбе и добавил с чуть лукавой улыбкой: – А впрочем, извиняться, пожалуй, следует ему, а не мне.

И он исчез за дверью.

Я продолжала шить рубашку, пока мои глаза хоть что-то различали, а потом попрощалась с Нэнси, прервав слишком уж горячее изъявление благодарности справедливым напоминанием, что я сделала для нее не больше, чем она сделала бы для меня, переменись мы местами, и поспешила в

Хортон-Лодж. Войдя в классную комнату, я обнаружила там дикий хаос на чайном столике, залитый чуть не по край поднос и мисс Матильду в полном бешенстве.

– Где вы шлялись, мисс Грей? Чай я приказала подать полчаса назад, и мне пришлось самой его заваривать и пить совсем одной! Почему вы не пришли раньше?

– Я навещала Нэнси Браун и думала, что вы еще не вернулись с прогулки.

– Интересно бы узнать, как это я могла кататься верхом под дождем? Проклятуший ливень хлынул как раз, когда я пустила кобылу галопом, и словно этого мало – возвращаясь домой и должна пить чай одна-одинешенька! И вы знаете, что я не умею заваривать его по своему вкусу.

– Про ливень я не подумала, – ответила я (и правда, мне как-то в голову не пришло, что она из-за него прервет прогулку).

– Вот-вот! Вы-то были под крышей, а о других вы никогда не думаете.

Я сносила ее грубые упреки с неожиданным равнодушием, даже весело, так как не сомневалась, что сделала куда больше добра Нэнси Браун, чем причинила зла мисс Матильде. Но, быть может, мой дух поддерживали и другие мысли, подсластившие чашку холодного перестоявшего чая, укрывшие светлым покровом неаппетитный хаос на столике и – я чуть было не прибавила – одарившие очарованием сердитое лицо мисс Матильды, но она почти сразу же отправилась на конюшню, оставив меня пить чай в приятном одиночестве.

Глава XIII ПЕРВОЦВЕТЫ

Теперь по воскресеньям мисс Мэррей обязательно посещала церковь дважды, ибо так обожала восхищение своей особой, что не упускала ни единого случая насладиться им. А в церкви такой случай представлялся непременно, – пусть даже Гарри Мелтем и мистер Грин почему-то пропускали службу, кто-нибудь да непременно становился жертвой ее чар, а на самый худой конец оставался мистер Хэтфилд, которому сан не позволял отсутствовать там слишком уж часто. Обычно также, если допускала погода, она и ее сестрица возвращались домой пешком – Матильда потому, что терпеть не могла тесноты кареты, Розали потому, что предпочитала вынужденному уединению экипажа приятное общество, которое неизменно скрашивало дорогу через парк Хортон-Лоджа. А можно было возвращаться и вдоль почтового тракта, на котором в еще большем отдалении располагалась резиденция сэра Хью Мелтема. Иными словами, нашими спутниками непременно оказывались либо Гарри Мелтем с мисс Мелтем (или без нее), либо мистер Грин то с одной, то с двумя своими сестрами, а также все молодые джентльмены, гостившие у них.

Возвращалась ли я пешком с барышнями или в карете с их родителями, зависело от прихоти первых. Если они благоволили «взять» меня с собой, я отправлялась пешком, если же, по соображениям, ведомым лишь им одним, мое общество оказывалось лишним, я усаживалась в свой уголок в карете. Сама я предпочитала пешую прогулку, но выбор полностью предоставляла им, так как никому не хотела навязывать свое присутствие и никогда не доискивалась до причин их разнообразных капризов. Собственно говоря, это было наиболее разумным: гувернантке принадлежало право подчиняться и угождать, ее ученицам – право считаться лишь с собственными желаниями. В тех случаях, когда я их все-таки сопровождала, первая половина дороги обычно оборачивалась для меня порядочным мучением. Вышеупомянутые молодые джентльмены и барышни словно не подозревали о моем существовании, а потому идти рядом с ними и слушать их разговоры, как будто я причисляю себя к ним и не замечаю, что ни единое слово вообще не предназначается для моих ушей, было мне крайне неприятно. Их взгляды скользили по мне, как по пустоте, так, точно они меня не видели или старательно показывали, что не видят. Неприятно было и идти позади всех, словно смиренно признавая свое зависимое положение. Ведь, правду сказать, я не считала себя сколько-нибудь хуже лучших из них и хотела, чтобы они это знали и не воображали, будто я смотрю на себя как на прислугу, которая знает свое место и не дерзает идти рядом с господами, хотя собственные ее барышни и оказывают ей честь, позволяя сопровождать себя, а иной раз и снисходя до разговора с ней, за неимением более благородных собеседников. И – мне даже стыдно сознаться в этом – я, когда шла рядом с ними, всеми силами сама старалась не заме-

чать их, как бы поглощенная своими мыслями или красотой окружающего пейзажа; а если отставала, то словно заинтересовавшись птичкой, бабочкой, цветком или деревом, а потом шла неторопливо в некотором отдалении от веселой компании, пока мои ученицы уже одни не сворачивали на дорогу через парк.

Один такой случай особенно запал мне в память – чудесный день на исходе марта. Мистер Грин и его сестрицы отослали свой экипаж, чтобы насладиться ярким солнцем и душистым воздухом, возвращаясь домой пешком в приятном обществе гостивших у них капитана Имярека и лейтенанта Имярек-Тожа (пустоголовых армейских франтов), а также барышень Мэррей, которые, разумеется, поспешили к ним присоединиться. Компания была вполне во вкусе Розали, но не в моем, а потому я поторопилась отстать и предалась изучению ботаники и энтомологии, созерцая зеленые пригорки и распускающиеся живые изгороди, пока их голоса не затихли в отдалении и перестали заглушать ликующую песню жаворонка. Ласковые солнечные лучи, нежный ветерок развеяли мою меланхолию, но тут же на смену ей явились печальные мысли о детстве, тоска об ушедших радостях – а может быть, по неведомому, но счастливому будущему. Блуждая взглядом по крутым откосам, покрытым молоденькой травкой и пробивающимися ростками, увенчанным стенами живых изгородей, я жаждала увидеть какой-нибудь знакомый цветок, который ярко воскресил бы воспоминания о лесистых долинах и травянистых склонах холмов у меня дома – о коричневых вересковых пустошах здесь, разумеется, ничто напомнить не могло. Без сомнения, такая находка вызвала бы у меня потоки слез, но последнее время это стало одним из самых дорогих для меня удовольствий. В конце концов я разглядела среди корявых корней дуба на самом верху откоса три чудесных первоцвета, которые так мило выглядывали из своего потаенного гнездышка, что у меня сразу защипало глаза. Но дотянуться до них и сорвать хотя бы один, чтобы помечтать над ним и унести с собой, мне не удалось, а на откос я взобраться не могла, потому что услышала позади себя приближающиеся шаги и уже хотела обернуться, как вдруг вздрогнула от неожиданности.

– Позвольте, я сорву их для вас, мисс Грей, – негромко произнес серьезный, так хорошо мне знакомый голос. И секунду спустя я уже держала букетик из трех вестников весны. Разумеется, это был мистер Уэстон. Кто еще стал бы затрудняться ради меня?

Я поблагодарила его. Тепло ли или холодно, сказать не могу, но во всяком случае не выразив и половины той благодарности, которую испытывала. Вероятно, с моей стороны это было глупо, но в то мгновение мне этот простой поступок показался удивительным доказательством его доброты, благоденствием, отплатить за которое мне нечем, но которое навсегда запечатлется в моей душе, настолько я не привыкла получать такие знаки вежливости и настолько мало ожидала подобного внимания к себе в Хортон-Лодже и его окрестностях в радиусе пятидесяти миль. Тем не менее я почувствовала себя очень неловко и ускорила шаг, хотя, пожалуй, быстро раскаялась бы в своем решении, если бы мистер Уэстон понял намек и тут же попрощался со мной. Но этого не случилось. То, что для меня было торопливым шагом, ему казалось обычной походкой.

– Барышни вас покинули, – заметил он.

– Да, они находятся в более интересном обществе.

– Ну, так для чего же стараться их догнать?

Я пошла тише – и тотчас об этом пожалела. Мой спутник молчал, а я не знала, как начать разговор, и подумала, что он, вероятно, находится в таком же затруднении. Наконец он все-таки нарушил молчание и спросил с некоторой присущей ему отрывистостью, люблю ли я цветы.

– Ах, очень, – ответила я. – А полевые и лесные особенно.

– Я тоже, – ответил он. – К садовым я равнодушен, потому что они мне ни о чем не говорят – за одним, двумя исключениями. А какие ваши любимые цветы?

– Первоцветы, колокольчики, вереск.

– Но не фиалки?

– Нет. Потому что они, как вы выразились, ничего мне не говорят. Душистые фиалки не растут на холмах и в долинах вокруг моего родного дома.

– Как вам должно быть утешительно, мисс Грей, что у вас есть родной дом, – произнес мой спутник после краткой паузы. – Пусть до него далеко, пусть вы лишь изредка возвращаетесь туда,

но вам есть, чего ждать.

– Да, это такое огромное утешение, что без него я, наверно, не могла бы жить, – ответила я с горячностью, в которой тут же раскаялась, решив, что мои слова прозвучали довольно глупо.

– О нет, смогли бы, – заметил он с задумчивой улыбкой. – Узы, связывающие нас с жизнью, куда крепче, чем вам кажется. Понять это способны лишь те, кто почувствовал, как сильно их можно растянуть, не порвав. Лишившись родного дома, вы, возможно, тосковали бы, но продолжали бы жить, и вовсе не так печально, как вы воображаете сейчас. Человеческое сердце напоминает каучук: надувается каучуковый пузырь без особого усилия, однако очень трудно надуть его так, чтобы он лопнул. «Меньше малого довольно, чтобы сердце взволновать, больше самого большого надо, чтоб его разбить». Как и наши члены, оно обладает врожденной крепостью, обороняющей его против внешних ударов. Каждый наносимый ему удар закаляет его для следующих, точно так же как постоянный труд загрубляет кожу на ладонях, но наращивает мышцы, а не изнуряет их, и работа, от которой нежные женские руки покроются кровавыми ссадинами, не оставит никакого следа на руках пахаря. Я знаю все это из опыта – отчасти моего собственного. Было время, когда я думал, как вы сейчас – по крайней мере я твердо верил, что родной дом и сосредоточенные в нем сердечные привязанности – единственное, благодаря чему жизнь кажется сносной, а без них она обернется почти невыносимым бременем. Но теперь у меня нет дома – разве что вы возвысите таким наименованием две комнатки, которые я снимаю в Хортоне, – и менее года назад я потерял самое дорогое мне существо, последнее из всех, кто был мне близок. Тем не менее я не только живу, но и не отказываюсь от надежды на счастье даже в этом мире. Хотя, признаюсь, когда вечером я захожу в самую бедную хижину и вижу, как ее обитатели мирно коротают час отдыха у весело пылающего очага, я почти испытываю зависть к их тихим домашним радостям.

– Но ведь вы не знаете, какие радости ждут вас впереди! – сказала я. – Вы же еще в самом начале вашего пути.

– Высшая радость мне уже дана, – ответил он. – Возможность и желание быть полезным.

Тут мы поравнялись с перелазом, от которого тропинка вела к ферме, куда, решила я, и направлялся мистер Уэстон «быть полезным». Во всяком случае, он попрощался со мной, перешел через перелаз и зашагал по тропинке обычной своей твердой, упругой походкой, а я пошла дальше одна, размышляя над его словами. Я уже слышала, что он лишился матери незадолго до того, как приехал сюда. Значит, это она была самым дорогим ему существом, из всех близких ее он потерял последней и теперь у него *нет родного дома*. Сердце у меня сжалось от жалости к нему, я даже чуть не заплакала из сочувствия. Вот, значит, чем объясняется, подумала я, тень не по возрасту глубокой серьезности, которая так часто омрачает его лоб и снискала ему в глазах добросердечной мисс Мэррей и всех ей подобных репутацию человека угрюмого и холодного. «Однако, – подумала я, – ему все-таки легче переносить свое горе, чем было бы на его месте мне. Он ведет деятельную жизнь, и перед ним открыто широкое поприще для приложения своих сил. Он может находить себе друзей, а если захочет, то сможет и создать себе дом – и, конечно, со временем он этого захочет. Дай Бог, чтобы хозяйка этого дома была достойна его выбора и сделала их семейный очаг счастливым. Кто это заслужил, как не он? И как было бы чудесно, если бы...» Впрочем, неважно, о чем я тогда подумала.

Книгу эту я начала с твердым намерением ничего не утаивать, чтобы те, кто захотел бы, могли извлечь пользу, постигнув чужое сердце. Однако бывают мысли, которые открыты всем ангелам небесным, но не нашим ближним, даже лучшим и самым добрым из них.

Тем временем Грины уже направились к себе, а Мэррей свернули в свой парк, и я поторопилась их нагнать. Барышни оживленно сравнивали различные достоинства молодых офицеров, но Розали, увидев меня, оборвала фразу на полуслове и воскликнула со злорадным торжеством:

– О-о, мисс Грей! Вот наконец и вы! *Не удивительно*, что вы так долго мешкали, и *не удивительно*, что вы всегда так рьяно заступаетесь за мистера Уэстона, когда я его браню. Ага! Теперь все открылось!

– Ах, мисс Мэррей, не говорите чепухи, – ответила я, пытаюсь весело засмеяться. – Вы ведь знаете, подобные глупости меня не трогают.

Однако она продолжала сыпать совсем уж нестерпимыми предположениями, а сестрица

поддерживала ее вздорными выдумками, и я решила, что мне следует сказать что-нибудь в свою защиту.

– Какая нелепость! – воскликнула я. – Если мистер Уэстон нагнал меня, направляясь на ферму, расположенную у этой дороги, и вежливо счел необходимым обменяться со мной несколькими фразами, что тут такого? Право же, я никогда прежде с ним не разговаривала, не считая одного раза.

– А в тот раз где? И когда? – закричали они наперебой.

– У Нэнси.

– Ага! Ага! Вы с ним там виделись? – торжествующим тоном осведомилась Розали. – О-о! Теперь, Матильда, я поняла, почему ей так нравится навещать Нэнси Браун. Она ходит туда кокетничать с мистером Уэстоном.

– Такой вздор, право, не заслуживает возражений. Я же сказала вам, что встретила его там всего один раз. И как я могла предвидеть, что он туда придет?

Их бессмысленный смех и противные намеки меня было расстроили, но, посмеявшись вдоволь, они вновь принялись разбирать по косточкам капитана с лейтенантом, и моя досада быстро прошла, причина ее была забыта, и мои мысли приняли более приятный оборот. Так мы миновали парк, вошли в дом, и я поднялась к себе в комнату уже во власти лишь одной думы, одного необоримого желания, переполнявшего мое сердце. Едва затворив дверь, я упала на колени и излила душу в пылкой, но смиренной мольбе. Я пыталась повторять «Да вершится воля Твоя», но тут же добавляла: «Отче Небесный, Ты всемогущ, и, быть может, в воле твоей»... Это желание... эта молитва навлекли бы на меня презрение и мужчин и женщин. «Но, Отче, Ты их не презришь!» – произнесла я вслух и почувствовала, что это так. Ведь я молилась о счастье другого, быть может, даже более истово, чем о моем, и... да-да!.. я всем сердцем жаждала, чтобы он был счастлив, не я. Возможно, я себя обманывала, но именно эта мысль придала мне смелость просить и зажгла надежду, что молитва моя будет услышана. Два первоцвета я поставила в воду, и они стояли на моем столике, пока совсем не увяли и горничная их не выбросила, но лепестки третьего я засушила в моей Библии, где они хранятся до сих пор и будут храниться всегда.

Глава XIV ПАСТЫРЬ ПРИХОДА

Следующий день выдался еще более солнечным. Вскоре после завтрака мисс Матильда галопом пронеслась по коротеньким заданиям, увязла в них без всякого толку, час мстительно барабанила по клавишам, гневаясь на меня и на них, потому что ее маменька не устроила ей каникулы, а затем удалилась туда, куда ее влекло больше всего – на задний двор, в конюшню и на псарню. Мисс Мэррей отправилась пройтись, взяв в спутники модный роман, а я осталась в классной комнате трудиться над ее акварелью, которую она попросила меня закончить – и непременно сегодня же.

У моих ног лежал маленький жесткошерстный терьер. Он принадлежал мисс Матильде, но она его возненавидела и собиралась продать, объявив, что пес совершенно испорчен. Это было далеко не так, но она твердила, что он ни на что не пригоден и настолько глуп, что не узнает собственной хозяйки.

На самом же деле она купила его совсем еще сосунком, вначале не разрешала никому до него дотрагиваться, но вскоре беспомощный питомец, требовавший постоянного ухода, ей надоел и она сдалась на мои просьбы поручить его моим заботам. Подросший щенок, естественно, всю свою привязанность отдал мне – лучшей награды я и не желала: она далеко искупала все хлопоты, которые он мне доставлял. Но бедняжка Снэп постоянно навлекал на себя выговоры и сердитые пинки своей владелицы за то, что отказывал ей в преданности, и теперь его вот-вот могли либо «убрать», либо продать какому-нибудь грубому, бессердечному хозяину. Но как я могла помочь? Обращаться с ним жестоко, чтобы он меня возненавидел, я не могла себя заставить, а мисс Матильда и не думала привлечь его к себе лаской.

Я все еще усердно орудовала карандашом и кисточкой, как вдруг в комнату полувплыла, по-

лувлетела миссис Мэррей. – Мисс Грей! – начала она. – Право, как вы можете корпеть над каким-то рисунком в такой чудесный день? (Она решила, что я выбрала себе такое занятие для собственного удовольствия!) Почему бы вам не надеть шляпку и не пойти погулять с барышнями?

– Мисс Мэррей, сударыня, читает, а мисс Матильда отправилась к своим собакам.

– Вот если бы вы прилагали больше стараний, чтобы занимать мисс Матильду, она не была бы *вынуждена* искать развлечений в обществе собак, лошадей и конюхов, как теперь. И будь вы более веселой и интересной собеседницей, мисс Мэррей реже бродила бы по лугам с книгой в руке. Впрочем, я не собираюсь порицать вас, – добавила она, вероятно, заметив, как вспыхнули мои щеки и как дрогнула кисточка в моих пальцах. – Ну, не будьте такой обидчивой, иначе с вами вообще невозможно будет разговаривать! Лучше скажите, не знаете ли вы, куда пошла Розали и почему ей так нравится гулять в одиночестве?

– Она говорит, что любит оставаться наедине с новым романом.

– Но почему она не может читать его в парке или в цветнике? Почему ей надо удаляться в луга или бродить по проселочным дорогам? И почему мистер Хэтфилд так часто встречается ее там? На той неделе она сказала мне, что он прошел рядом из конца в конец всю Мшистую дорогу, ведя лошадь на поводу. И я уверена, что это его я сейчас увидела из окна гардеробной: он быстро прошел мимо ворот парка в сторону луга, где она обычно прогуливается. Я хотела бы, чтобы вы пошли посмотреть, там ли она, и тактично напомнили ей, что барышне ее положения и с блестящим будущим не прилично прогуливаться одной там, где кто угодно может позволить себе дерзость заговорить с ней, словно с какой-нибудь бедной сиротой, у которой нет для прогулок собственного парка и нет близких, чтобы о ней позаботиться. И скажите ей, что ее папенька очень на нее рассердился бы, если бы узнал, что она, как я опасаюсь, разрешает мистеру Хэтфилду некоторую фамильярность. И... Ах, если бы вы... если бы гувернантки вообще были способны испытывать хотя бы тень материнской тревоги, материнских вещей предчувствий, я была бы избавлена от всех этих беспокойств, а вы бы сами сразу поняли, насколько необходимо вам не спускать с нее глаз и сделать свое общество приятным ей... Но идите же, идите! Нельзя терять ни минуты! – вскричала она, заметив, что я не только убрала рисунок и краски, но уже довольно давно жду на пороге, когда она окончит свои наставления.

Мисс Мэррей, как и предсказала ее маменька, я нашла на ее любимом лугу за оградой парка – и, к несчастью, не одну: рядом с ней неторопливо шествовала высокая величавая фигура. Мистер Хэтфилд!

Мне предстояло решить трудную задачу. Нарушить этот тет-а-тет я была обязана, но как это сделать? Появление такого ничтожества, как я, прогнать мистера Хэтфилда не могло. Поспешить же без приглашения присоединиться к мисс Мэррей, словно не замечая ее спутника... нет, на такую навязчивость я способна не была. Не хватало у меня и мужества крикнуть, не отходя от входа в парк, что ее ждут дома, а потому я избрала половинчатое решение и пошла к ним навстречу медленным, но твердым шагом с намерением, если мое присутствие не отпугнет кавалера, сказать мисс Мэррей, что ее требует маменька.

Розали, неторопливо прогуливавшаяся вдоль решетки, через которую каштаны в парке перекидывали ветви все в набухающих почках, бесспорно выглядела обворожительно: в одной руке закрытый роман, в другой – прелестная веточка мирта, которой она изящно помахивает, легкий ветерок играет с каскадом выбившихся из-под шляпки светлых локонов, пленительный румянец на нежных щеках, дань удовлетворенному тщеславию, ласковые голубые глаза то лукаво взглядывают на поклонника, то взирают на веточку мирта. Тут опередивший меня Снэп, прервав какой-то кокетливо-шутливый ответ, ухватил ее за платье и потянул за собой. Мистер Хэтфилд со свистом опустил трость на голову злополучного песика, который, завизжав, кинулся назад ко мне, видимо весьма развеселив преподобного джентльмена своим визгом. Однако, увидев, что я продолжаю идти к ним, он, очевидно, решил, что настала минута откланяться, и я, нагнувшись, чтобы с подчеркнутой укоризненностью приласкать его бедную жертву, услышала, как он сказал:

– Когда же я опять увижу вас, мисс Мэррей?

– Полагаю, в церкви, – ответила она. – Если только дела вновь не приведут вас сюда именно тогда, когда я выйду погулять.

– О, у меня всегда найдутся тут дела, если бы я только мог знать, где и когда встречу вас.

– Даже если бы я хотела ответить на ваш вопрос, то не сумела бы: я слишком порывиста и никогда сегодня не знаю, что буду делать завтра.

– В таком случае подарите мне хотя бы это утешение, – сказал он, словно бы шутливо протягивая руку к миртовой веточке.

– Да ни в коем случае!

– Прошу вас. Умоляю! Или вы сделаете меня несчастнейшим из смертных. Неужто у вас достанет жестокости отказать мне в милости, которая вам ничего не стоит, но будет цениться столь высоко! – настаивал он с такой пылкостью, словно речь шла о его жизни.

К этому времени я уже стояла в нескольких шагах от них, с нетерпением ожидая, когда же он удалится.

– Ну, хорошо, берите и уходите! – сказала Розали.

Мистер Хэтфилд благоговейно принял дар, произнес что-то, что заставило ее порозоветь и вскинуть голову, но с легким смешком, выдавшим притворство ее негодования, и с учтивейшим поклоном пошел своей дорогой.

– Вы когда-нибудь видели такого человека, мисс Грей? – осведомилась барышня, поворачиваясь ко мне. – Я ужасно рада, что вы пришли. Я боялась, что не сумею от него отделаться и папа увидит нас вместе!

– Он был здесь долго?

– Нет, нет, но он так нестерпимо развязен и вечно делает вид, будто его сюда приводят дела или его пастырский долг, а сам выслеживает меня, бедняжку: не успею я оглянуться, а он тут как тут.

– Ваша маменька полагает, что вам не следует выходить за пределы парка или цветника, если вас не сопровождает тактичная пожилая особа вроде меня. Она заметила, как мистер Хэтфилд мелькнул мимо ворот, и тотчас отправила меня в том же направлении с распоряжением отыскать вас, взять под свою опеку, а также предостеречь...

– Ах, мама так неразумна! Как будто мне нужна чья-то опека! Она уже докучала мне из-за мистера Хэтфилда, и я ей ответила, что она может твердо на меня положиться: я не забуду о своем положении и его требованиях даже ради самого обаятельного мужчины в мире. Ах, если бы он завтра рухнул на колени и попросил бы меня стать его женой, только чтобы я могла показать маме, насколько она ошибается, вообразив, будто я... Ах, как это меня бесит! Как она смеет считать меня глупенькой, девчонкой, способной *влюбиться*! Это же унижительно для женского достоинства. Любви! Не терплю этого слова. И считаю оскорблением, когда оно употребляется применительно к нашему полу. Я могу снизойти до *благодарности*, но не к бедному же мистеру Хэтфилду, у которого нет и семисот фунтов годового дохода. Мне нравится болтать с ним, потому что он очень находчив и остроумен – как жаль, что сэр Томас Эшби не идет тут с ним ни в какое сравнение, – и мне – *необходимо* с кем-то кокетничать, а ни у кого другого не хватает сообразительности приходить сюда. Когда же мы выезжаем, мама не разрешает мне кокетничать ни с кем, кроме сэра Томаса – если и он оказывается там. Когда же его нет, то я вообще связана по рукам и ногам: вдруг кто-нибудь сочинит какую-нибудь глупую сплетню, и он решит, что я уже помолвлена или вот-вот буду помолвлена с кем-то другим. Или же – что куда вероятнее – его гадкая старуха мать увидит или услышит что-нибудь и решит, что я недостойна стать женой ее драгоценного сыночка, а ведь сам он величайший шалопай в мире, и любая сколько-нибудь порядочная девушка гораздо, гораздо выше его.

– Неужели это правда, мисс Мэррей? И ваша маменька все-таки хочет, чтобы вы вышли за него?

– Еще бы! А знает она про него куда больше дурного, чем я, и старается от меня скрывать, чтобы я не взбунтовалась, даже не подозревая, какое малое значение я придаю подобным вещам. Ведь в сущности это такие пустяки: он возьмется за ум, когда женится, как мама и утверждает, а всем известно, что из раскаявшихся повес выходят самые лучшие мужья. Мне только не нравится, что он такой урод – меня только это мучает. Но тут в глуши выбора нет, а папа не желает, чтобы мы поехали в Лондон.

– Мне кажется, мистер Хэтфилд во всех отношениях лучше.

– Бесспорно, будь он вдобавок владельцем Эшби-Парка. А я *должна* стать хозяйкой Эшби-Парка, с кем бы ни пришлось его делить.

– Но ведь мистер Хэтфилд думает, что вы его отличаете. Вы забываете, как горько он будет разочарован, когда убедится в своей ошибке.

– И очень хорошо! Это будет ему наказанием за дерзость – да как он смеет вообразить, что я его отличаю! Сдернуть повязку с его глаз будет таким удовольствием!

– Ну, так сделайте это поскорее.

– И не подумайте. Я же объяснила вам, что мне нравится играть с ним. А к тому же он вовсе не должен считать, будто я его отличаю. Я об этом позаботилась. Вы и вообразить не способны, как умно я себя веду. Возможно, у него хватает наглости полагать, что ему удастся меня увлечь. А за это я и накажу его, как он того заслуживает.

– Что же, постарайтесь не давать ему оснований для такой наглости, только и всего, – сказала я.

Но все мои уговоры оставались напрасными и лишь толкали ее с большей тщательностью прятать от меня свои желания и помыслы. О мистере Хэтфилде она со мной больше не говорила, но я видела, что ее мысли, если не ее сердечные чувства, все еще сосредоточены на нем и что она намерена опять с ним встретиться. Хотя, подчиняясь желанию ее маменьки, я на некоторое время стала неременной ее спутницей, она по-прежнему выбирала для прогулок луга и уединенные проселки, расположенные вблизи от проезжей дороги. И разговаривала ли она со мной, читала ли захваченную с собой книгу, взгляд ее постоянно блуждал по сторонам или устремлялся вперед – не покажется ли кто-нибудь из-за поворота. А если мимо проезжал всадник, она осыпала его ядовитыми насмешками, кто бы он ни был. Такая внезапная ненависть, на мой взгляд, неопровержимо доказывала, в чем заключается его вина – он не был мистером Хэтфилдом.

«Нет, – размышляла я, – не может она быть столь к нему равнодушной, как верит сама и внушает другим. И тревога ее маменьки вовсе не так беспричинна, как она утверждает!»

Прошло три дня, но мистер Хэтфилд так и не появился. На четвертый, когда мы шли вдоль решетки парка по достопамятному лугу, обе с книгами (я всегда обеспечивала себя каким-нибудь занятием на случай, если ей не захочется со мной разговаривать), она вдруг воскликнула, заставив меня поднять глаза от страницы:

– Мисс Грей! Будьте так добры, сходите к Марку Буду и отнесите его жене полкроны, которые я обещала занести или прислать ей еще неделю назад и совсем забыла. Возьмите, – продолжала она торопливо, вручая мне свой кошелек. – Да не ройтесь в нем! А идите и дайте им столько, сколько сочтете нужным. Я бы пошла с вами, но хочу дочитать первый том. Дочитаю и пойду вам навстречу. Поторопитесь... Ах да, может быть, вы ему немного почитаете? Зайдите домой за какой-нибудь душеспасительной книгой. Подойдет любая.

Я подчинилась, но ее торопливость и внезапность просьбы пробудила во мне подозрения, а потому на краю луга я оглянулась и увидела, что мистер Хэтфилд входит в ворота в дальнем его конце. Послав меня в дом за книгой, она помешала мне встретиться с ним на дороге.

«Ну и пусть, – подумала я. – Ничего страшного не случится, а бедному Марку полкроны придутся очень кстати, да и душеспасительная книга не помешает. А если наш пастырь похитит сердце мисс Розали, это немножко усмирит ее гордость, и даже если они поженятся, это просто избавит ее от гораздо худшей судьбы. Пара из них выйдет неплохая. Она достойна его, а он – ее».

Марк Вуд был тот чахоточный батрак, о котором я уже упоминала. Он быстро угасал. И щедрость мисс Мэррей снискала ей в буквальном смысле слова благословение умирающего. Ему самому никакие деньги уже не были нужны, но он обрадовался присланной монете ради жены и детей, которым скоро предстояло лишиться мужа и отца. Я осталась на несколько минут и немного почитала, чтобы укрепить в нем дух и немного утешить его горюющую жену, а затем пошла обратно. Но шагов через пятьдесят мне встретился мистер Уэстон, который, видимо, шел туда же. Он поздоровался со мной обычным своим спокойным и серьезным тоном и остановился узнать, как я нашла страдальца и его семью, потом с братской непринужденностью взял у меня книгу, которую я читала, перелистал ее, сделал несколько коротких, но очень поучительных замечаний,

рассказал мне о больном, которого только что навестил, поговорил немного о Нэнси Браун, погладил Снэпа, который резвился у его ног, и наконец, похвалив погоду, пошел своим путем.

Я не стала приводить его слова полностью, полагая, что читателю они будут далеко не так интересны, как мне, но не потому, что забыла их. Нет, они живы в моей памяти! Ведь я без конца перебирала их в уме и тогда же, и много дней спустя, вспоминая все переливы его звучного голоса, каждый взгляд его живых карих глаз, каждую его милую, но такую мимолетную улыбку. Подобное признание, боюсь, покажется глупым, но не важно. Написанное написано, читающие же не знают того, кто писал.

Я пошла дальше, чувствуя себя необычайно счастливой и радуясь всему вокруг, и тут увидела, что мне навстречу спешит мисс Мэррей. Легкая походка, раздумывавшиеся щеки и сияющая улыбка показывали, что и она на свой лад полна счастья. Она подбежала ко мне, взяла меня под руку и, не сделав ни малейшей паузы, чтобы перевести дух, начала:

– Оцените, мисс Грей, великую честь, которая вам оказывается – я самой первой сообщаю вам свои новости, и никто другой пока еще о них не знает!

– Так в чем же дело?

– Ах, какие новости! Во-первых, едва вы ушли, как меня настиг мистер Хэтфилд. Я так перепугалась, что папа или мама его увидят! Но вы понимаете, я ведь не могла позвать вас назад, и я... ах, какая досада, я не могу вам сейчас рассказать все подробности – вон в парке Матильда, и я должна поскорее сообщить ей, что произошло. Короче говоря, Хэтфилд был чрезвычайно смел, рассыпался в невозможных комплиментах и взял неслыханно нежный тон, то есть пытался взять, но не слишком удачно, это не в его духе. В другой раз расскажу, что он говорил.

– Но что говорили вы? Мне это много интереснее.

– Услышите и это, только потом. Я была в чудесном настроении, но, хотя держалась очень мило и любезно, никак и ни в чем не преступила границ. Однако самодовольный болван изволил истолковать хорошее расположение моего духа на свой лад и в конце концов настолько злоупотребил моей снисходительностью, что... вот попробуйте догадаться!.. взял да и сделал мне предложение.

– А вы?

– Я гордо выпрямилась и с величайшей холодностью выразила свое изумление подобной выходкой, ведь я, казалось, не дала ему никакого повода питать подобные надежды. Видели бы вы, как у него вытянулась физиономия! Он побелел как полотно. Я заверила его, что питаю к нему глубокое уважение и прочее и прочее, но принять оказанную мне честь не могу. Да и в любом случае папа и мама, сказала я, никогда бы не дали своего согласия.

«Но если бы они его дали, – вскричал он, – вы все-таки отказали бы мне в вашем?»

«Разумеется, мистер Хэтфилд», – ответила я с холодной твердостью, сразу положившей конец его чаяниям. Ах, если бы вы видели, как он был сокрушен, как уничтожен своим разочарованием! Право, я почти его пожалела. Впрочем, он решился еще на одну отчаянную попытку. После долгого молчания, пока он пытался совладать с собой, а я – сохранить серьезность, потому что меня разбирал смех, который погубил бы все, он спросил с кривой улыбкой:

«Ответьте мне откровенно, мисс Мэррей, обладай я богатством сэра Хью Мелтема или будущим его старшего сына, вы бы мне все равно отказали? Скажите правду, заклинаю вас!»

«Разумеется, – ответила я. – Это никакой разницы не составило бы».

Естественно, это была вопиющая ложь, однако он все еще так упрямо верил в свою неотразимость, что я решила не оставлять ему ни крупицы утешения. Он посмотрел мне прямо в глаза, но я прекрасно владела собой, и он не мог не принять мои слова за чистую правду.

«В таком случае, я полагаю, все кончено...» – произнес он с таким видом, словно был готов умереть тут же на месте от досады и отчаяния. Но кроме того, он изволил еще и рассердиться. Он, видите ли, безмерно страдает, а я, безжалостная причина его страданий, остаюсь столь неуязвимой для залпов самых его победительных взоров и слов, храню такую ледяную гордость! Как тут было не разгневаться? И вот со жгучей горечью он начал:

«Бесспорно, я этого не ожидал, мисс Мэррей. Я мог бы сказать кое-что о вашем недавнем поведении и о надеждах, которые вы позволили мне лелеять, но я воздержусь при условии...»

«Никаких условий, мистер Хэтфилд!» – перебила я, на этот раз искренне возмущенная его наглостью.

«В таком случае разрешите мне просить об этом, как о милости, – сказал он, немедленно понизив голос и заметно более смиренным тоном. – Позвольте мне умолять вас, чтобы вы никому не говорили о том, что сейчас произошло. Если вы сохраните молчание, то можно будет избежать неприятностей для обеих сторон... То есть в той мере, в какой это достижимо. Свои чувства, если мне не удастся изгладить их из своего сердца, я попытаюсь скрыть, я попытаюсь простить, хотя и не в силах забыть причину моих душевных мук. Не позволю себе и предположить, что вы понимали, какую тяжкую рану мне наносите. Я хочу верить, что это не так. Но если к той ране, которую вы мне уже нанесли... простите меня, нечаянно или нет, но вы ее нанесли, вам будет угодно добавить еще одну, предав случившееся гласности или хотя бы проговорившись о нем, вы убедитесь, что и мне есть что рассказать, и, хотя вы презрели мою любовь, вряд ли вам удастся презреть мою...»

Он умолк, но с такой свирепостью закусил свою совсем белую губу, что мне даже страшно стало. Однако гордость меня поддержала, и я ответила пренебрежительно:

«Не знаю, мистер Хэтфилд, что, по-вашему, могло бы побудить меня предавать что-нибудь гласности. Но если бы я сочла это нужным, вам не удалось бы удержать меня угрозами, не говоря уж о том, что истинные джентльмены так не поступают».

«Простите меня, мисс Мэррей, но я любил вас так горячо... я все еще питаю к вам такое глубокое обожание, что менее всего хотел бы оскорбить вас. И все же хотя я ни одной женщины не любил – и не мог любить, – как любил вас, то, с другой стороны, ни одна не обошлась со мной так дурно, как вы. Напротив, я всегда до этой минуты считал ваш пол самым добрым, самым нежным и кротким из всех творений Божьих. (Нет, вы только подумайте, какое самодовольство!) Новизна и жестокость урока, который вы мне сегодня преподали, и горечь разочарования в том, от чего зависело счастье всей моей жизни, должны послужить извинением невольной резкости. Если мое присутствие вам неприятно, мисс Мэррей... (Я поглядывала по сторонам, чтобы показать, насколько я к нему равнодушна, а он, верно, решил, что надоел мне.) Если мое присутствие вам неприятно, мисс Мэррей, вам стоит только обещать мне милость, о которой я прошу, и я немедленно вас от него избавлю. Найдется немало таких – даже и в этом приходе, – кто был бы счастлив принять то, что вы столь презрительно попрали. Естественно, они будут склонны возненавидеть ту, чья несравненная красота отняла у них мое сердце и сделала слепым к их достоинствам, и самый легкий намек на истинное положение дел даже одной из них породит о вас сплетни, которые могут серьезно повредить вам и заметно уменьшить ваши шансы на успех с любым другим джентльменом, которого вы или ваша матушка задумаете завлечь в свои сети».

«О чем вы, сэр?» – вскричала я и чуть ногой не топнула от досады.

«О том, что теперь все это с начала и до конца представляется мне самым отъявленным кокетством, если не сказать большего. И вы навлечете на себя множество неприятностей, стоит свету узнать о нем, – да еще с добавлениями и преувеличениями, на какие не посягнут ваши соперницы, которые будут с восторгом рассказывать о вашей слабости направо и налево, стоит мне дать им такую возможность. Но ручаюсь честью джентльмена, что с моих уст не сорвется ни слова, ни намека, если вы обещаете...»

«Так я и не собиралась ни о чем говорить, – перебила я. – Вы можете положиться на мое молчание, если это доставит вам хоть малейшее утешение».

«Вы обещаете?»

«Да», – ответила я, потому что хотела теперь поскорее от него избавиться.

«Ну, так прощайте!» – произнес он скорбным, душенадрывающим голосом и, бросив на меня последний взгляд, в котором гордость тщетно боролась с отчаянием, повернулся и ушел, несомненно торопясь вернуться домой, запереться у себя в кабинете и дать волю слезам – если, конечно, он не расплачется по дороге.

– Но ведь вы уже нарушили свое обещание! – сказала я, искренне ужаснувшись ее вероломству.

– О! С вами не в счет. Я же знаю, что вы никому ничего не скажете.

– Конечно, не скажу. Но ведь вы намерены рассказать и вашей сестре, а она расскажет вашим братьям, когда они приедут на каникулы, а до тех пор Браун, если вы сами прежде ее во все не посвятите, а уж Браун разблаговестит об этом всему свету – не сама, так другие за нее.

– Да ничего подобного! Если мы ей и скажем, то только взяв с нее строжайшее обещание молчать.

– Но почему вы полагаете, что она будет держать свои обещания более свято, чем ее госпожа, хотя та и много просвещеннее?

– Ну, хорошо, ей можно и не говорить, – ответила мисс Мэррей с досадой.

– Но вы скажете вашей маменьке, а она – вашему папеньке.

– Разумеется, я скажу маме: потому-то я так и радуюсь. Уж теперь она поймет, как напрасно она за меня опасалась.

– Ах, вот в чем дело! А я не могла понять, почему вы в таком восторге.

– Конечно. И еще потому, что я так очаровательно поставила мистера Хэтфилда на место. Да, и еще одно – имею же я право на чуточку женского тщеславия? Я ведь не делаю вида, будто лишена этого важнейшего свойства нашего пола, и если бы вы видели, с каким самозабвенным жаром бедняжка Хэтфилд изливал свое сердце и оказывал мне столь лестную честь, а также его душевные мучения, которые никакая гордость спрятать не могла, когда он получил отказ, вы согласились бы, что у меня есть причина быть довольной собой.

– Чем больше его мучения, тем меньше, мне кажется, есть у вас для этого причин!

– Ах, какой вздор! – воскликнула барышня, досадливо встряхивая головой. – Вы либо не способны меня понять, либо не хотите из упрямства. Если бы я не верила в ваше великодушие, то подумала бы, что вы мне завидуете. Но может быть, вы признаете мое право быть довольной собой и по другой причине, не менее веской: я хвалю себя за мое благоразумие, умение владеть собой, за мое бессердечие, если вам угодно. Я ни чуточки не растерялась, не смутилась, не допустила никакой неловкости, никаких промахов. Я держалась и говорила именно так, как следовало. А ведь он решительно хорош собой – Джейн и Сьюзен Грин считают его обворожительно красивым; наверное, это он на них намекал, когда говорил, что другие были бы счастливы принять его предложение. Бесспорно, он очень умный, занимательный, приятный собеседник. То есть не умный в вашем смысле, но ровно настолько, чтобы его было интересно слушать. И очень представительный мужчина, с каким не стыдно показаться где угодно, какой не скоро надоест. Признаться, он мне последнее время нравился даже больше Гарри Мелтема и он меня просто боготворил. И все же, когда он застал меня врасплох, совсем одну, у меня достало и ума, и гордости, и силы отказать ему, да еще так презрительно и холодно! Нет, у меня есть все причины гордиться собой.

– И вы гордитесь тем, что сказали ему, будто для вас не составило бы никакой разницы, обладай он богатством сэра Хью Мелтема, хотя это совсем не так? И тем, что обещали ему молчать о его тягостной неудаче без малейшего намерения свое обещание сдержать?

– Разумеется! А что мне еще оставалось? Не хотели же вы, чтобы я... Но я вижу, мисс Грей, вы в кислом настроении. Вот и Матильда! Посмотрим, что на это скажут она и мама!

Она ушла обиженная, что я не разделила ее восторгов, и, наверное, думая, что я ей завидую. Но я не испытывала к ней ни малейшей зависти... во всяком случае, так мне казалось. Мне было жаль ее. Меня поразило и преисполнило отвращением ее бессердечное тщеславие. Я спрашивала себя, почему столько красоты даруется тем, кто так дурно ею распоряжается, а не тем, кто сумел бы обратить ее на радость себе и другим.

Но Богу виднее, решила я. Вероятно, есть мужчины не менее тщеславные и эгоистичные, чем она, и, быть может, подобные женщины нужны, чтобы карать их.

Глава XV ПРОГУЛКА

– Ах, ну зачем Хэтфилд так поторопился! – объявила Розали на следующий день в четыре часа пополудни, когда с томительным зевком положила вышивку и обратила безучастный взгляд в окно. – Вот и гулять идти не хочется, и предвкушать нечего. Если нет ни званных вечеров, ни ба-

лов, время тянется так долго и так скучно! А на этой неделе, да и на следующей, ничего не предвидится.

– Жаль, что ты так его отбрила, – ответила Матильда, к которой были обращены эти сетования. – Он к тебе теперь, конечно, и на милую не подойдет, а ведь ты-то была не прочь от его ухаживаний. Я все надеялась, что ты выберешь его своим кавалером, а миленького Гарри оставишь мне.

– Вздор! Мой кавалер, Матильда, должен быть истинным Адонисом и вызывать восторг и зависть решительно у всех, – вот тогда, быть может, я удовольствовалась бы им одним. Признаюсь, мне жаль, что я потеряла Хэтфилда. И буду рада первому же более или менее сночному мужчине – или толпе их, – который сможет заместить его. Завтра воскресенье... Интересно, какой у него будет вид, да и сможет ли он вообще служить! Наверное, он скажется больным и поручит службу мистеру Уэстону.

– Как бы не так! – пренебрежительно отозвалась Матильда. – Хоть он и дурак, но до такого не дойдет.

Розали слегка оскорбилась, но Матильда оказалась права: отвергнутый влюбленный исполнил свой пастырский долг, как обычно. Правда, Розали заявила, что он смертельно бледен и уныл. Возможно, он был несколько бледнее, чем всегда, но ручаться не могу. Что до уныния, то действительно из ризницы против обыкновения не доносился его смех или веселый голос, хотя все в церкви услышали, как он за что-то гневно выговаривал пономарю, – и многие с недоумением переглянулись. К кафедре и от кафедры, к аналою и от аналоя он шел на этот раз с большой торжественностью, а не с тем неблаголепным самодовольством, а вернее, упоенный самовосхищением, с каким обычно проносился по проходу, словно говоря: «Я знаю, все вы меня благоговейно чтите, но если найдется такой, кто этого чувства не разделяет, я им пренебрегаю!» Однако наиболее примечательным было то, что он ни разу не обратил взгляда на скамью мистера Мэррея и не вышел из церкви, пока мы не уехали.

Без сомнения, мистер Хэтфилд получил тяжелый удар, но гордость понуждала его скрывать это от посторонних глаз. Он обманулся в сладкой надежде не просто получить руку пленившей его красавицы, но и обзавестись женой, чье положение в свете и богатство придали бы очарование даже дурнушке. К тому же он, несомненно, был уязвлен тем, как мисс Мэррей ему отказала, и ее поведение, пока он за ней ухаживал, представлялось ему теперь оскорбительным. Вероятно, впрочем, он немало утешился бы, узнав, как больно ее задело его видимое равнодушие: ни во время первой службы, ни во время второй он не удостоил ее ни единым взглядом! Правда, она объявила, что, следовательно, он каждый миг думал о ней – иначе взглянул бы на их скамью нечаянно. Хотя, случись это, она, разумеется, с той же уверенностью стала бы утверждать, что у него не хватило сил удержаться. И наверное, он получил бы некоторое удовольствие, если бы видел, какой унылой и раздраженной была она почти всю следующую неделю, лишившись любимого развлечения, и как часто вслух сожалела, что «слишком уж быстро все из него выжала!» – точно ребенок, который, сразу проглотив свой кусок пирога, облизывает пальцы и тщетно раскаивается в недавней жадной торопливости.

Под конец в одно погожее утро она пожелала, чтобы я проводила ее в деревню, куда она решила прогуляться, чтобы (как она объяснила) подобрать берлинскую шерсть в лавке – весьма недурной, где делали покупки все окрестные дамы. Однако можно предположить, – надеюсь, не слишком отступая от христианского милосердия, – что в действительности ее влекла туда надежда встретить по пути приходского пастыря или какого-нибудь еще поклонника. Во всяком случае, всю дорогу ей «было бы интересно узнать»: то – что сказал бы или сделал бы Хэтфилд, «если бы он нам встретился?», то, когда мы проходили мимо ворот мистера Грина, – «неужели этот болван сидит дома?», то, когда навстречу проехала в карете леди Мелтем, – «чем занимается мистер Гарри в такой прекрасный день?». После чего она принялась бранить его старшего брата за то, что «идиот не придумал ничего лучшего, чем жениться и уехать в Лондон!»

– А мне казалось, что вы и сами хотели бы жить в Лондоне, – заметила я.

– Да, потому что тут скука смертная. Но оттого, что он уехал, стало еще скучнее. А если бы он не женился, я могла бы выйти за него, а не за этого противного сэра Томаса.

Тут она увидела на довольно-таки грязной дороге отпечатки лошадиных копыт, и оказалось, что ей «было бы интересно узнать, не оставил ли их благородный конь какого-нибудь джентльмена», после чего был сделан вывод, что так оно и есть, ибо «неуклюжий деревенский одер» таких изящных следов оставить не мог. И потому «было бы интересно узнать, кто же этот всадник» и не встретим ли мы его, когда он будет возвращаться, потому что он ведь проехал тут совсем недавно. Когда же мы наконец добрались до деревни и не увидели никого, кроме нескольких смиренных ее обитателей, она объявила, что «было бы интересно узнать», почему эти глупые люди не сидят у себя дома? Что за удовольствие смотреть на их безобразные физиономии и грязные вульгарные отрепья! Она совсем не для этого пришла сюда!

Признаюсь, мне все время тоже втайне было бы очень интересно узнать, не встретим ли мы кого-то совсем другого. И когда мы проходили мимо дома, где он жил, я даже почувствовала, что мне было бы очень интересно узнать, не стоит ли он сейчас у окна.

Войдя в лавку, мисс Мэррей распорядилась, чтобы я осталась у порога, пока она будет выбирать шерсть, и предупредила бы ее, если кто-нибудь пройдет мимо. Но, увы! Кроме местных жителей в вульгарных отрепьях на единственной длинной улице мой взгляд различил только Джейн и Сьюзен Грин, которые, видимо, возвращались домой после прогулки.

– Идиотки! – пробормотала мисс Розали, выходя с покупкой. – Почему они не взяли с собой своего болвана-брата? Все-таки он был бы лучше, чем ничего.

Однако поздоровалась она с ними самым приветливым образом и не менее их радовалась вслух такой счастливой встрече. Болтая и смеясь, как принято у барышень, если только уж они во все друг друга терпеть не могут, все три пошли вместе – Розали посредине, Джейн и Сьюзен справа и слева от нее. Я, чувствуя себя лишней и не желая мешать их веселости, как обычно, отстала – что за радость идти рядом с барышнями Грин, подобно глухонемой, с которой не говорят и которая сама не может сказать ни слова!

Но на этот раз мне недолго пришлось оставаться в одиночестве. В первую минуту я сочла очень странным совпадением, что мистер Уэстон подошел и поздоровался со мной именно тогда, когда я о нем думала. Но, по зрелому размышлению, я решила, что ничего странного тут не было – разве что в его желании заговорить со мной. В такое прекрасное утро так близко от его дома подобная встреча была лишь естественной. Ну, а думала я о нем почти все время с самого начала нашей прогулки, так что и в этом совпадении ничего удивительного не было.

– Вы опять одна, мисс Грей! – сказал он.

– Да.

– Да, кстати, эти мисс Грин – какие они?

– Право, не знаю.

– Странно! Ведь вы соседи и так часто видите.

– Что же, по-моему, они очень живые барышни, с приятным характером. Но, думаю, вы должны их знать лучше, чем я – ведь я с ними ни разу не обменялась ни словом.

– Неужели? Мне они особенно сдержанными не показались.

– Возможно, в своем кругу они и не такие, но, по их мнению, они вращаются в совсем иных сферах, чем я.

Он помолчал, а затем сказал:

– Полагаю, потому-то, мисс Грей, вы и считаете, что умерли бы, не будь у вас родного дома?

– Не совсем. Дело в том, что я по натуре общительна, и мне трудно обходиться без друзей, а единственные мои друзья – и вряд ли я когда-нибудь обрету других – это мои родные у меня дома. И если я лишусь его... то есть их, то, может быть, и не умру, но мне трудно будет жить в опустевшем мире.

– Но почему вы полагаете, что не можете обрести других друзей? Или вы столь замкнуты, что это вам трудно?

– Нет. Но до сих пор мне это не удавалось. А в нынешнем моем положении нет никакой надежды даже завязать обычное знакомство. Возможно, в этом есть и моя вина, однако, надеюсь, она лежит не только на мне.

– Вина лежит отчасти на обществе, отчасти, мне кажется, на тех, кто вас окружает, но отча-

сти и на вас самой. Многие барышни в вашем положении сумели бы поставить себя по-другому. И ваши ученицы могли бы в какой-то мере заменить вам подруг. Ведь разница в возрасте между вами не так уж велика.

– О да, иногда мне бывает с ними легко и приятно, но считать их настоящими подругами я не могу, да и им в голову бы не пришло удостоить меня таким названием. У них есть другие, более отвечающие их требованиям.

– Быть может, вы для них чересчур умны. Но как вы развлекаетесь в одиночестве? Вы много читаете?

– Чтение – мое любимое занятие, когда у меня есть досуг – и книги.

От книг вообще он перешел к определенным книгам и продолжал перебирать тему за темой, так что за какие-нибудь полчаса мы успели поговорить и о вкусах и о мнениях, причем сам он был сдержан и немногословен, видимо предпочитая узнавать мои убеждения и склонности, а не сообщать мне свои. Он не обладал умением или искусством ловко выведывать мои мысли или чувства с помощью каких-то своих утверждений, искренних или нет, или же незаметно переводя разговор в желанное ему русло, а задавал вопросы без всяких обиняков, но с благородной прямоот и откровенностью, которые лишали некоторую его резкость малейшей оскорбительности.

«Но почему его интересует, что я думаю и чувствую?» – спросила я себя, и мое сердце затрепетало от волнения.

Тем временем Джейн и Сьюзен уже дошли до своих ворот и остановились, стараясь убедить мисс Мэррей отдохнуть у них. Мне очень захотелось, чтобы мистер Уэстон успел уйти, прежде чем она, обернувшись, увидит нас вместе, но, к несчастью, он направлялся к бедному Марку Вуду, и ему было с нами по дороге почти до самого парка. Впрочем, увидев, что Розали распрощалась с приятельницами и ждет меня, он простился со мной и ускорил шаги. Однако, к моему удивлению, когда он поравнялся с ней и приподнял шляпу, намереваясь пройти мимо, она вместо того, чтобы ответить ему сухим чопорным кивком, удостоила его одной из самых обворожительных своих улыбок и пошла рядом с ним, стараясь завязать веселый и непринужденный разговор. И мы продолжили путь уже троим.

При первой же паузе мистер Уэстон обратился ко мне, напомнив одну из недавних тем, которые мы обсуждали, но Розали опередила меня, поспешно высказав свое мнение. Он ответил, и с этой секунды она завладела им всецело. Возможно, тут была повинна и я сама – моя глупость, отсутствие у меня светского такта и уверенности в себе, – однако я сочла себя обиженной. Меня снедали дурные предчувствия, я с завистью слушала ее бойкую болтовню и с тревогой замечала ясную улыбку, с какой она время от времени заглядывала ему в лицо, для чего (как казалось мне) нарочно шла на полшага впереди, чтобы ему было хорошо ее видно, а не только слышно. Пусть она говорила одни пустяки, они были забавны. У нее всегда находилось, что сказать – и все необходимые для этого слова. И ни задорности, ни легкомысленности, как бывало, когда она прогуливалась с мистером Хэтфилдом, – только кроткая веселость и милая живость, которые, решила я, должны особенно нравиться человеку с таким складом характера, как у мистера Уэстона.

Когда он свернул на свою тропу, она засмеялась и пробормотала:

– Я ведь знала, что сумею!

– Что сумеете? – спросила я.

– Прикончить этого человека.

– Как так?

– А так, что он вернется домой и будет грезить обо мне. Я убила его выстрелом прямо в сердце.

– Почему вы так думаете?

– Неопровержимых признаков вполне достаточно. Но главное – взгляд, которым он одарил меня на прощание. Нет, нет, вовсе не дерзкий, тут мне не в чем его упрекнуть, но благоговейный, полный почтительного обожания. Ха-ха! А он вовсе не такой скучный болван, каким я его считала!

Я хранила молчание, потому что у меня в горле стоял комок, словно мое сердце грозило вырваться наружу, и мне было страшно заговорить. «Господи, не дай этому произойти! – мысленно

вскричала я. – Не ради меня, но ради него!»

Пока мы шли по парку, мисс Мэррей несколько раз обращалась ко мне с какими-то банальными фразами, но я (вопреки твердому намерению скрыть свои чувства) отвечала коротко и невпопад. Хотела ли она меня помучить или просто позабавиться, не знаю, но меня это и не интересовало. Я вспоминала единственную овечку бедняка и богача, у которого было много всякого скота, и меня мучил непонятный страх за мистера Уэстона, не имевший никакой связи с моими разбитыми надеждами.

Как я была рада, когда мы вернулись и я осталась одна у себя в комнате. Больше всего мне хотелось опуститься в кресло у изголовья, сунуть голову в подушку и найти облегчение в бурных слезах. Но, увы! Мне пришлось вновь сдерживать и подавить свои чувства: прозвонил колокол, мучитель-колокол, призывающий к обеду в классной комнате, и мне предстояло спуститься вниз со спокойным лицом, и улыбаться, и смеяться, и говорить всякий вздор, и... да-да, и есть, если я смогу проглотить хоть кусок, словно ничего не произошло и я просто только вернулась после приятной прогулки.

Глава XVI ЗАМЕНА

Следующее воскресенье оказалось беспросветно хмурым: черные клубящиеся тучи низвергали на землю потоки дождя. Такого пасмурного дня в этом апреле еще не выпадало. Никому в доме не хотелось ехать в церковь – кроме Розали. Она, не слушая никаких возражений, потребовала карету, и мне пришлось поехать с ней, что, впрочем, меня лишь обрадовало: ведь только там я могла, не боясь насмешек или осуждения, смотреть на лицо, которое казалось мне чудеснее всего, что сотворил Бог; там я могла без помех внимать голосу, который чаровал мой слух слаще самой дивной музыки: я словно соприкасалась с душой, внушавшей мне такой глубокий интерес, и впивала ее самые чистые помыслы, самые священные чаяния – и это счастье ничем не омрачалось, если не считать тайных укоров совести, нередко шептавшей мне, что я обманываю себя и глумлюсь над Богом, предлагая ему сердце, отданное более творению, нежели Творцу. Порой такие мысли очень меня смущали, но я отгоняла их, внушая себе, что люблю не человека, но его добродетели. «Что чисто, что любезно, что достойно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Нам заповедано поклоняться Богу в Его творениях, а среди них я не знаю другого такого, в котором сияло бы столько Его свойств, столько Его духа, как в этом Его смиренном слугителе. Лишь бесчувственная тупость, думала я, не воздала бы ему должного, но ведь мне-то больше нечем было занять свое сердце.

Мисс Мэррей вышла из церкви, едва служба завершилась. Нам пришлось остановиться в дверях, потому что дождь лил по-прежнему, а карету еще не подали. Меня удивила эта ее поспешность: ни молодого Мелтема, ни сквайра Грина в церкви не было. Но я вскоре поняла, что она намеревалась перехватить мистера Уэстона, который действительно вышел сразу после нас. Поклонившись нам обеим, он собирался пройти мимо, но она его задержала – сначала посетовала на погоду, а затем спросила, не будет ли он так добр и не навестит ли завтра внучку старухи, живущей в сторожке у въезда в парк, – у девочки сильная лихорадка, и она очень хотела бы его увидеть. Он обещал побывать там.

– Но в каком часу вас примерно ждать, мистер Уэстон? Старушка непременно просила это узнать – вы же знаете, какое значение все они придают тому, чтобы в их каморках царил порядок, если они ждут тех, кто выше их. Они ведь принимают это куда ближе к сердцу, чем мы привыкли считать.

Какая умилительная деликатность вдруг проснулась в легкомысленной мисс Мэррей! Мистер Уэстон назвал наиболее удобный ему утренний час. Карета к этому времени уже подъехала, и лакей раскрыл зонт над мисс Мэррей, чтобы проводить ее до экипажа. Я было пошла за ними, но мистер Уэстон тоже открыл зонт и предложил мне укрыться под ним, так как дождь припустил сильнее.

– Нет, благодарю вас. Я не боюсь дождя, – ответила я. (Стоит застать меня врасплох, и я

утрачиваю способность мыслить.)

– Но мокнуть под ним вам вряд ли нравится, не правда ли? И в любом случае от зонтика вам вреда не будет, – ответил он с улыбкой, показавшей, что он ничуть не задет, хотя человека более раздражительного или менее проницательного такой отказ от его любезности мог бы рассердить. Возражать более я не могла и позволила ему проводить меня до кареты. Он даже подал мне руку, чтобы посадить внутрь – услуга совершенно излишняя, но я не отказалась, боясь его обидеть. В последний миг он посмотрел на меня с чуть заметной улыбкой – длилось это краткое мгновение, но я успела прочесть – или внушила себе, будто прочла, – в этом взгляде то, отчего надежда в моем сердце вспыхнула таким ярким пламенем, какого я прежде не знавала.

– Я бы прислала лакея за вами, мисс Грей, если бы вы подождали минуту, вам вовсе ни к чему было пользоваться зонтиком мистера Уэстона, – заметила Розали с недовольной гримасой на прелестном лице.

– Я пришла бы и без зонтика, но мистер Уэстон предложил мне свой, и я должна была согласиться, чтобы не обидеть его – он не хотел слушать никаких отказов, – ответила я, безмятежно улыбаясь: счастье в моей душе сделало смешными упреки, которые в иное время больно меня ранили бы.

Лошади тронулись. Когда мы нагнали мистера Уэстона, мисс Мэррей наклонилась вперед и посмотрела в окошко. Он шагал по мощеному тротуару в сторону своего дома и не повернул головы.

– Болван! – вскричала Розали, откидываясь на сиденье. – И ведь он даже не подозревает, чего лишился, потому что не соизволил посмотреть в эту сторону.

– Чего же он лишился?

– Моего поклона, который вознес бы его на седьмое небо!

Я промолчала. Ее дурное настроение меня втайне обрадовало – не потому, что она огорчилась, но потому, что у нее для этого была причина. Вдруг мои надежды имеют более твердое основание, чем одни мои желания и мечты?

– Я намерена заменить мистера Хэтфилда мистером Уэстоном, – объявила после недолгого молчания моя спутница, снова повеселев. – Во вторник, вы знаете, я еду на бал в Эшби-Парк, и мама полагает, что мистер Томас почти наверное сделает мне там предложение. Уединенные уголки бальных залов очень к этому располагают – кавалеры легче пленяются, потому что их дамы кажутся особенно очаровательными. Но если я должна выйти замуж столь скоро, времени терять нельзя. Я ведь решила, что Хэтфилд будет не единственным, кто положит сердце к моим ногам и будет тщетно молить, чтобы я приняла этот никчемный дар.

– Если вы наметили себе в жертвы мистера Уэстона, – заметила я с притворным равнодушием, – вам придется сделать ему столько авансов, что взять их назад, когда он попросит вас подтвердить подаренные вами надежды, окажется не так-то просто.

– Ну, нет, он вряд ли попросит меня стать его женой, да я этого и не хочу: у всякой дерзости должны быть пределы! А хочу я, чтобы он признал мою власть. О, он ее уже почувствовал, но он должен ее признать! Свои же призрачные надежды пусть держит при себе. Вполне достаточно, если благодаря им он будет меня забавлять – оставшееся время.

«Ах, если бы какой-нибудь добрый дух нашептал ему эти слова ее голосом!» – мысленно вскричала я в таком негодовании, что побоялась ответить ей что-нибудь вслух.

В этот день мистер Уэстон более не упоминался – ни мною, ни при мне. Однако на следующее утро мисс Мэррей вошла в классную комнату, где ее сестра сидела, а вернее зевала, над уроками, и сказала:

– Матильда, около одиннадцати часов мы с тобой пойдем погулять.

– Нет, Розали, я не могу! Мне надо распорядиться о новой уздечке и попоне и поговорить с крысоловом о его собаках. Пусть с тобой пойдет мисс Грей!

– Мне нужна ты, – объявила Розали и, отозвав сестру к окну, прошептала ей что-то на ухо, и Матильда уступила.

Я вспомнила, что в одиннадцать мистер Уэстон обещал побывать в сторожке, и весь замысел сразу стал мне ясен. За обедом меня развлекали подробным рассказом о том, как их нагнал мистер

Уэстон, когда они прогуливались по дороге, и как они долго шли и разговаривали с ним – ах, он оказался очень приятным собеседником, – и как он должен был быть восхищен – да и был восхищен! – и ими, и их необычайной снисходительностью.

Глава XVII ПРИЗНАНИЯ

Если уж я решилась открыть свое сердце, то почему бы сразу не признаться, что примерно тогда же я стала проявлять больше интереса к своей внешности, что, впрочем, было не трудно, ибо до тех пор в этом отношении я была несколько небрежна. Но теперь я, случалось, по две минуты рассматривала в зеркале свое отражение, хотя никакого утешения оно мне не дарило. Крупные черты лица, бледные впалые щеки, темно-каштановые самые обычные волосы – что в них красивого? Пусть лоб говорит об уме, а темно-серые глаза, лишенные проблеска чувства, ценятся куда выше! Жалеть, что ты некрасива, – глупо. Разумные люди не желают красоты для себя и равнодушны к ней в других. Был бы образован ум и чувствительно сердце, а внешний облик ни в чьих глазах важности не имеет. Так наставляли в детстве нас, и так наставляем мы нынешних детей. Весьма достойные, весьма логичные выводы, но вот только подтверждаются ли они жизнью?

Мы от природы склонны любить то, что нам нравится. А что может нравиться больше красивого лица – если к тому же мы не знаем ничего дурного о той или том, кому оно принадлежит? Девочка любит свою птичку – почему? Потому, что птичка живая, что она умеет чувствовать, что она беспомощна и безвредна. Но жаба – живая, и она умеет чувствовать, и она беспомощна и безвредна. Однако пусть девочка и не причинит жабе зла, любить она будет птичку – такую хорошенькую, с пушистыми перышками и блестящими веселыми глазками. Если женщина прекрасна собой и прекрасна душой, почти все хвалят ее будут и за то, и за другое – но особенно за первое. Если же, с другой стороны, ее внешность и характер равно неприятны, в вину ей в первую очередь ставят некрасивость, сразу же оскорбляющую обычный посторонний взгляд. Если же дурнушка наделена превосходными душевными качествами, о них – особенно если она робка и ведет уединенную жизнь – никто даже не узнает, кроме самых близких ей людей. Все прочие же, напротив, склонны составлять самое неблагоприятное мнение о ее уме и характере, хотя бы в несознательном стремлении оправдать инстинктивную неприязнь к существу, столь обделенному природой. Прямо обратное происходит с той, чей ангельский облик прячет черное сердце или придает обманчивое ложное обаяние порокам и причудам, которых ни в ком другом не потерпели бы. Те, кто наделен красотой, пусть будут благодарны за нее и обратят ее на пользу, как любой другой талант. Те же, кто ее лишен, пусть не сетуют напрасно, а пробуют обойтись без нее. Во всяком случае, хотя красоте и придается чрезмерное значение, она – дар Божий, и презирать ее не должно. Ведь есть немало таких, кто чувствует, что способен любить, и чье сердце твердит им, что они достойны быть любимы, – и все же оттого лишь, что судьба обделила их подобным пустячным преимуществом, они лишены возможности дарить и получать счастье, хотя словно бы созданы радовать им и радоваться ему. Точно так же могла бы бескрылая подруга светляка презреть свою способность светиться! Ее крылатый возлюбленный, сотни раз пролетая над ней, так ее и не отыскал бы. Она слышала бы его жужжание в вышине и по сторонам и жаждала бы, чтобы поиски его увенчались успехом, но не имела бы средств, чтобы открыть ему свое присутствие – ни голоса, чтобы позвать его, ни крыльев, чтобы последовать за ним. И он летал бы искать себе другую подругу, а она была бы обречена жить и умереть в одиночестве.

Вот таким мыслям я нередко предавалась в то время. Я могла бы продолжить свои нравоучения, а могла бы и нырнуть поглубже, открыть свои мысли, задать вопросы, на которые читателю было бы трудно отыскать ответ, и привести доводы, которые задели бы его предрассудки или же были бы им высмеяны, потому что он их не понял бы. Но я воздержусь.

Вернемся лучше к мисс Мэррей. Во вторник она поехала с маменькой на бал, разумеется, великолепно одетая, в полном восторге и от своих чар, и от будущего, которые они ей сулили. От Хортон-Лоджа до Эшби-Парка почти десять миль, так что выехать они намеревались рано, и я решила провести вечер с Нэнси Браун, которую уже давно не навещала. Однако моя добрейшая уче-

ница позаботилась, чтобы я провела его не у бедной старушки и не где-нибудь еще, а в стенах классной комнаты, поручив мне безотлагательно переписать ноты, над которыми я и просидела до ночи. Утром, часов в одиннадцать, она, едва поднявшись с постели, явилась сообщить мне свои новости. Сэр Томас предложил-таки ей на балу руку и сердце, что делало большую честь проницательности ее маменьки, не говоря уж о ее собственном искусстве чаровать. Я была склонна думать, что она сначала составила свои планы, а затем предсказала их полный успех. Естественно, предложение было принято, и новоиспеченный жених должен был вскоре приехать, чтобы уладить все прочее с мистером Мэрреем.

Розали радовалась, что станет хозяйкой Эшби-Парка. Она ликующе предвкушала великолепие и блеск брачной церемонии, медовый месяц за границей и бесконечную череду развлечений и удовольствий, ожидавших ее в Лондоне, и не только там; и даже сэр Томас, казалось, стал ей много приятней после того, как накануне она столько с ним танцевала и слушала его комплименты. Тем не менее мысль о скорой свадьбе ее как будто пугала, и она хотела бы отложить ее хотя бы на несколько месяцев. И я разделяла ее чувство. Мне представлялось ужасным, что бедняжку заставят сделать бесповоротный шаг, не дав ей времени опомниться и поразмыслить над ним. Я отнюдь не испытывала «материнскую тревогу, материнские вещие предчувствия», но меня изумляла и повергала в ужас бессердечность миссис Мэррей, ее полное равнодушие к истинному счастью дочери, и я тщетно пыталась предотвратить неминуемую беду предостережениями и уговорами, которые пропускались мимо ушей. Мисс Мэррей только смеялась над моими словами. И вскоре я убедилась, что отсрочки она делает главным образом для того, чтобы сразить как можно больше знакомых молодых людей, прежде чем ей придется отказаться от таких шалостей. Вот почему, прежде чем сообщить мне о своей помолвке, она взяла с меня обещание, что я никому об этом не проговорюсь. Когда я поняла ее намерения, когда увидела, как она с еще большим жаром предавалась бессердечному кокетству, всякая жалость к ней исчезла из моего сердца. «Что бы ни случилось, – думала я, – она это заслужила. Сэр Томас ей вполне пара, а чем раньше она утратит возможность обманывать и причинять боль другим, тем лучше».

Свадьбу назначили на первое июня. Немногим более шести недель отделяли этот день от знаменательного бала, но даже за столь короткий срок искусство Розали и ее решимость сулили ей немало побед, а сэр Томас к тому же намеревался значительную часть этого времени провести в Лондоне, куда он отправился, как говорили, чтобы заняться делами со своим поверенным и сделать все необходимые приготовления для бракосочетания. Он пытался возместить свое отсутствие непрерывными залпами *billets-doux*,³ которые, в отличие от постоянных визитов, не могли стать известны соседям и открыть им глаза. Надменный же и кислый нрав вдовствующей леди Эшби не позволял ей говорить ей о семейных делах, а нездоровье помешало нанести визит будущей невестке, и потому помолвка оставалась почти в тайне, что, разумеется, бывает довольно редко.

Розали иногда показывала мне письма своего нареченного, чтобы похвастать, какой добрый любящий муж из него выйдет. Показывала она мне и послания еще одного претендента на ее руку, злополучного мистера Грина, который не решился «струсил», как выразилась она, – произнести слова признания устно, зато никак не мог удовлетвориться одним отказом и продолжал писать снова и снова. Наверное, он воздержался бы, если бы мог увидеть, с какими гримасами его прекрасная богиня читала его излияния, и услышать ее презрительный смех и обидные эпитеты, которыми она щедро награждала его за «назойливость».

– Но почему вы ему прямо не скажете, что помолвлены?

– Нет, я не хочу, чтобы он это узнал, – ответила она. – Ведь тогда об этом узнают его сестрицы и весь свет, и я уже не смогу... кха-кха... Кроме того, он вообразит, будто все дело в помолвке и будь я свободна, то дала бы ему согласие. Не желаю, чтобы хоть один мужчина смел так думать, а уж он – так меньше всех остальных. И мне нет дела до его писем, – добавила она пренебрежительно. – Пусть строчит их, сколько ему угодно, и смотрит на меня телячьими глазами, когда мы где-нибудь встречаемся. Меня это только забавляет.

Тем временем юный Мелтем часто являлся с визитами или проезжал мимо, и, судя по про-

³ Любовные послания (фр.).

клятиям и упрекам Матильды, ее сестра была с ним приветливее, чем того требовала простая вежливость. Иными словами, она кокетничала с ним в полную меру, какую только допускало присутствие ее родителей. Она попыталась вновь повергнуть мистера Хэтфилда к своим ногам, но, потерпев неудачу, отплатила ему высокомерным равнодушием, сдобренным еще более высокомерным презрением, и говорила она о нем с тем пренебрежением и брезгливостью, которые прежде приберегала для его помощника. Самого мистера Уэстона она теперь ни на минуту не оставляла в покое: пользовалась каждым удобным случаем, чтобы встретиться с ним, пускала в ход все уловки, чтобы его очаровать, и преследовала его с таким упорством, словно отдала ему свое сердце навеки и умерла бы, если бы не добилась взаимности. Подобная манера вести себя была выше моего понимания. Если бы я прочла о таком поведении в романе, оно показалось бы мне совершенно неестественным, если бы я про него услышала, то решила бы, что рассказывающий заблуждается или сильно преувеличивает. Но я наблюдала его собственными глазами, я страдала из-за него, и могла только заключить, что чрезмерное тщеславие, подобно пьянству, ожесточает сердце, туманит ум и оупляет чувства. И что не одним псам свойственно, объевшись, грозно рычать над тем, что сами они проглотить не в силах, — лишь бы не уделить кусочка голодному собрату.

Мисс Мэррей теперь принялась благодетельствовать беднякам. Она расширила свое знакомство с ними, чаще навещала их убогие жилища и дольше в них оставалась. Таким способом она заслужила среди них славу доброй, совсем не гордой барышни, и, конечно, они всячески расхваливали ее мистеру Уэстону, с которым у нее таким образом появилась возможность встречаться довольно часто — либо в одной хижине, либо в другой, либо по дороге туда, либо по дороге обратно. К тому же от них она нередко узнавала, где он может оказаться в тот или иной час — крестит ли младенца, навещает ли престарелых, больных, сирых или умирающих, — и составляла свои планы соответственно. Отправлялась она туда иногда с сестрой, которую не то уговорила, не то подкупила содействовать своим замыслам, а иногда в одиночестве, но меня с собой не брала никогда, так что теперь я была лишена радости видеть мистера Уэстона и слушать его голос — пусть в разговоре с другими, — а это было бы неизъяснимой радостью, какой бы болью, какими бы ранами ни сопровождалось. Даже в церкви мне не дозволялось его видеть: мисс Мэррей под каким-то пустым предлогом завладела тем уголком семейной скамьи, который всегда считался моим, и мне оставалось только либо сидеть спиной к кафедре, либо сесть между мистером и миссис Мэррей, о чем, разумеется, не могло быть и речи.

И домой мои ученицы теперь шли без меня, заявив, что их маменька считает неприличным, если трое возвращаются домой пешком, а в карете едет лишь двое. Но в хорошую погоду гулять так приятно, что честь сопровождать их родителей они предоставляют мне.

— К тому же, — добавили они, — вам трудно за нами успевать. Вы вечно отстаете!

Я знала, что все это надуманные предлоги, но не возражала и не опровергала их аргументы, прекрасно понимая истинную их подоплеку.

А днем церковь за эти достопамятные шесть недель я не посетила ни разу. Если мне слегка нездоровилось, они сострадательно принуждали меня остаться дома или же говорили, что второй раз в церковь не поедут, а в последнюю минуту делали вид, будто передумали, и уезжали туда, не предупредив меня и с такими предосторожностями, что мне ни разу не довелось вовремя узнать о перемене их планов.

Однажды, вернувшись после второго такого посещения церкви, они принялись оживленно пересказывать мне свой разговор с мистером Уэстоном, который проводил их почти до входа в парк.

— И он спросил, мисс Грей, не больны ли вы, — сказала Матильда. — А мы объяснили, что вы совсем здоровы, но просто не захотели ехать в церковь с нами. Наверное, он решит, что вы дурно себя ведете.

Были приняты все меры, чтобы предотвратить случайные встречи и в будни: мисс Мэррей заботливо находила мне занятия, не оставлявшие мне ни единой свободной минуты, и я больше не могла навещать бедную Нэнси Браун или кого-нибудь другого. То необходимо было докончить рисунок, то переписать ноты, то еще что-нибудь, и хорошо, если я успевала немножко погулять в

парке. Они же прекрасно проводили время без меня.

Как-то утром им удалось подстеречь мистера Уэстона, и, вернувшись, они с ликованием начали пересказывать свой с ним разговор.

– Он опять про вас спрашивал, – сказала Матильда вопреки безмолвному, но выразительному требованию сестры, чтобы она придержала язык. – Удивился, почему вы никогда нас не сопровождаете, и посетовал, что у вас такое слабое здоровье, раз оно вынуждает вас оставаться дома.

– Он ничего подобного не говорил, Матильда! Какой вздор ты болтаешь.

– Нет уж, Розали, это ты врешь. Он так и сказал, а ты сказала... Ой, Розали... Черт побери!.. Перестань щипаться! А Розали, мисс Грей, сказала ему, что вы здоровы, но все время сидите, закрывшись в книги, и никаких других удовольствий не признаете!

«Какого же мнения должен он быть обо мне!» – подумала я, но вслух спросила:

– А Нэнси обо мне справляется?

– Да. А мы ей отвечаем, что вы так любите читать и рисовать, что ничем другим заниматься не хотите.

– Но ведь это не совсем так. Если бы вы ей сказали, что я все время занята и потому не могу ее навестить, это было бы ближе к истине.

– Ничего подобного! – вдруг вспыхнула мисс Мэррей. – У вас теперь очень много свободного времени, ведь вы почти уроков не даете.

Вступать в спор с такими избалованными, взбалмошными девицами не имело никакого смысла, и я промолчала. Я уже давно привыкла отмалчиваться, когда говорились вещи мне глубоко неприятные. И еще я научилась сохранять на лице спокойную улыбку, когда сердце мое переполняла горечь. Лишь те, кто испытал подобное, способны вообразить, что я чувствовала, пока с напускным веселым равнодушием слушала их рассказы о встречах и разговорах с мистером Уэстоном, которые они описывали мне словно бы с особым удовольствием, сообщая подробности, которые могли быть только преувеличениями и искажениями правды, если не просто выдумками – ведь я знала его характер. И все представлялось в виде, унижительном для него и лестном для них – особенно для мисс Мэррей, и я сгорала от желания возразить или хотя бы посмотреть на них с сомнением, но не осмеливалась, опасаясь выдать свой жгучий интерес. А многое, как мне казалось, как я боялась, было правдой, но и тут приходилось под личиной безразличия скрывать тревогу за него и возмущение их поведением. И еще – загадочные намеки, которые мне невыносимо хотелось разгадать!

Но любой вопрос мог меня выдать. Так тянулось это тоскливое время. Я же не могла успокоить себя и таким доводом: «Ничего, скоро ее свадьба, и можно будет надеяться...»

Ведь потом почти сразу я уеду домой, а когда вернусь, наверное уже не найду тут мистера Уэстона – по слухам, он и мистер Хэтфилд плохо ладили (разумеется, по вине мистера Хэтфилда!), ему пришлось подыскать себе другое место.

Нет! Конечно, я уповала на Бога, но единственным другим моим утешением была мысль, что я – пусть он этого и не знает – более достойна его любви, чем Розали Мэррей, как ни прекрасна она, как ни очаровательна. Ведь я способна оценить высокие достоинства его души, а она нет; я бы свою жизнь посвятила тому, чтобы дать ему счастье, а она погубит его счастье навсегда ради минутного удовлетворения глупого тщеславия. «Ах, если бы только он мог понять! – с тоской восклицала я. – Но нет, я не позволила бы ему заглянуть мне в сердце... И все же, если бы только он увидел ее пустоту, ее недостойное бессердечное легкомыслие, он был бы спасен, а я... я бы почла себя почти счастливой, даже если никогда больше его не увидела бы!»

Боюсь, я успела порядком наскучить читателю глупостями и слабостью, в которых столь откровенно ему призналась. Но тогда я ничем их не выдала – и сумела бы скрыть, даже если бы там со мной были мама и Мэри. Я оказалась ловкой и закоренелой притворщицей, пусть лишь в этом. Мои молитвы, слезы, чаяния, страхи и сетования оставались ведомы лишь мне самой и Небесам.

Когда нас томят печаль и тревога или угнетают чувства, которые мы вынуждены скрывать, не ища и не находя ничьего сочувствия, и в то же время не в силах совсем подавить, мы нередко ищем утешения в поэзии – и обретаем его то ли в чужих излияниях, которые словно выражают наши собственные муки, то ли в наших собственных попытках дать выход этим мыслям и чув-

ствам в стихах, быть может, и менее музыкальных, но зато более подходящих к случаю, более созвучных нашему душевному состоянию, а потому обладающих большей властью успокаивать или облегчать измученное, переполненное болью сердце. Еще в Уэлвуд-Хаусе, да и тут, когда меня особенно мучила тоска по дому, я раза два обращалась к этому тайному целительному источнику. Теперь же я вновь припала к нему, ибо еще больше нуждалась в утлении страданий. Я до сих пор сохраняю эти свидетельства прежних мук, которые, словно вехи, отмечают наиболее знаменательные события на пути по земной юдоли. Следы наши стерлись, облик местности переменялся, но еще стоит веха, напоминая мне все обстоятельства, при которых она там появилась. Быть может, читателю будет любопытно взглянуть на образчик этих излияний, и я предложу ему один короткий пример. Хотя строки эти могут показаться холодными и вялыми, породило их жгучее горе.

Надежду отняли они,
Что мне звездой была,
И голос слышать не дают,
Которым я жила.

И увидеть твое лицо
Не позволяют вновь,
Улыбки отняли твои,
Украли и любовь.

Но пусть! Одно им не отнять
Сокровище мое –
То сердце, что тобой полно
И верует в твое!

Да, этого они не могли у меня отнять – я могла думать о нем дни и ночи, я могла чувствовать, что он достоин того, чтобы о нем думать. Никто не знал его, как я, никто не мог оценить его, как я, никто не мог любить его, как я... любила бы, если бы у меня было на то право. В том-то и заключалось все зло. С какой стати думала я о том, кто не думал обо мне? Не глупо ли это? Не дурно ли? Но если мысли о нем дарят мне такое жгучее блаженство, а я ни с кем не делюсь, никому им не докучаю – то где тут вред? Вот какие вопросы я себе задавала. И подобные рассуждения мешали мне сбросить свои оковы.

Но хотя эти мысли несли с собой блаженство, оно было томительным и тревожным, слишком близким к муке и приносило мне больше вреда, чем я догадывалась. Благоразумие и опытность не допустили бы такой слабости. Но как тоскливо было отрывать взгляд от созерцания этого светоча и обращать его на унылую серую пустыню вокруг, на безрадостную, скорбную, одинокую тропу перед собой. Предаваться отчаянию и тоске дурно. Мне следовало искать опору в Боге, сделать Его волю светом и смыслом моей жизни, но вера была слаба, а страсть – слишком сильна.

В это тягостное время на меня обрушились еще две беды. Первую можно считать пустяком, хотя она стоила мне немало слез: Снэп, мой четвероногий ясноглазый ласковый дружок, был отнят у меня и передан во власть деревенского крысолова, известного своим жестоким обращением с попавшими к нему в рабство собаками. Вторая беда была куда серьезней. В письмах из дома все чаще упоминалось, что здоровье папы ухудшается. Нет, особого страха в них не выражалось, но я стала теперь боязливой, и меня преследовал страх перед надвигающимся непоправимым несчастьем. Мне чудились черные тучи, собирающиеся над родными холмами, и приближающийся рокот бури, которая вот-вот разразится и осиротит наш очаг.

Глава XVIII МИРТЫ И ТРАУР

Наконец наступило первое июня и Розали Мэррей преобразилась в леди Эшби. В подвенеч-

ном наряде она выглядела несравненной красавицей. Вернувшись из церкви после обряда, она вбежала в классную комнату, раскрасневшись от волнения и смеясь – не столько весело, сколько с безрассудством отчаяния, показалось мне.

– Вот, мисс Грей! Теперь я леди Эшби! – воскликнула она. – Все кончено. Моя судьба решена, изменить ничего нельзя. Я пришла принять ваши поздравления и попрощаться с вами, а потом – Париж, Рим, Неаполь, Швейцария, Лондон! Подумать только, как много я увижу и узнаю, прежде чем вернусь в эти края! Но не забывайте меня. Я вас не забуду, хотя и была гадкой шалуньей. Но почему же вы меня не поздравляете?

– Поздравить вас я смогу только, когда буду знать, что все произошло к лучшему, пока же я желаю вам истинного счастья и всех благ.

– Ну, так прощайте. Карета ждет, и меня уже зовут.

Торопливо поцеловав меня, она поспешила прочь, но вдруг вернулась, обняла меня с чувством, на которое я не считала ее способной, и убежала почти в слезах. Бедняжка! В эту минуту я почувствовала, что люблю ее, и от всего сердца простила ей все зло, которое она причинила мне... и другим. Ведь толком она не ведала, что творила, подумала я и помолилась, чтобы и Господь ее простил.

До конца этого дня праздничной печали я была предоставлена сама себе и в расстроенных чувствах не в силах ничем заняться несколько часов блуждала с книгой в руке, не столько читая, сколько размышляя, ибо мне о многом надо было подумать. Вечером я воспользовалась вновь обретенной свободой и навестила мою старинную приятельницу Нэнси, чтобы извиниться за столь долгое мое отсутствие (которое словно бы говорило о пренебрежении и черствости), объяснив, что я все время была очень занята, и чтобы поболтать с ней, почитать ей или помочь с работой – как захочет она, а взамен, быть может, узнать кое-что от нее про предполагаемый отъезд мистера Уэстона. Но об этом она ничего не знала, и я разделила ее надежду, что это пустые слухи. Она мне очень обрадовалась, но глаза ее, к счастью, почти уже совсем поправились, и мои услуги ей не очень требовались. Она засыпала меня вопросами о свадьбе, но пока я, исполняя ее желание, описывала все подробности знаменательного дня, великолепия приема и красоту невесты, она нет-нет да вздыхала и высказывала желание, чтобы все это обернулось добром. Как и я, она видела в этой свадьбе скорее повод печалиться, чем радоваться. Я очень долго просидела у нее, разговаривая о том о сем, – но *никто не пришел*.

Признаться ли, что я порой посматривала на дверь в надежде, что она откроется и войдет мистер Уэстон, как случилось в тот единственный раз? И что на обратном пути я нередко останавливалась то на дороге, то на лугу и оглядывалась? И что я шла медленнее, чем следовало бы – вечер, хотя и ясный, был прохладным, а когда добралась до дома, так никого и не увидев даже издали, кроме батраков, возвращавшихся с полей, почувствовала горькое разочарование и душевную опустошенность?

Но приближалось воскресенье. Уж тогда-то я его увижу – мисс Мэррей больше с нами нет, и я могу вернуться в мой прежний уголок. Я увижу его и по лицу, словам, манере держаться смогу заключить, очень ли он удручен ее замужеством. К великой моей радости, я не обнаружила никаких подозрительных признаков: он выглядел точно так же, как два месяца назад, – голос, лицо, манеры остались прежними, а его проповедь по-прежнему отличала та же глубокая, ничем не замутненная искренность, та же ясная сила, та же проникновенная простота каждого слова и жеста, которые вызвали не к зрению или слуху прихожан, но проникали в их сердца.

Домой мы с мисс Матильдой пошли пешком, *но он не нагнал нас!* Матильда была теперь обречена на томительную скуку и грустное одиночество: братья в школе, сестра вышла замуж и покинула дом, а выезжать в свет ей еще не настало время, хотя пример Розали пробудил в ней некоторый вкус к нему – во всяком случае, вкус к обществу молодых джентльменов. И ни лисьей травли, ни даже охоты! Пусть прямое участие в этих развлечениях ей возбранялось, но во время сезона все-таки можно было провожать отца с егерем и собаками, а по их возвращении беседовать с ними о том, сколько и каких птиц ему удалось подстрелить. Была она теперь лишена и того утешения, каким могло бы послужить ей общество кучера, конюхов, лошадей, гончих и сеттеров. Ее маменька, сумев вопреки всем трудностям деревенского образа жизни столь удачно сбыть с рук

старшую дочь, гордость своего сердца, обратила серьезное внимание на младшую, пришла в ужас от грубости ее манер и вкусов, сочла, что настало время все исправить, и, наконец-то употребив власть, строго-настрого запретила всякие посещения двора, конюшен, конур и каретного сарая. Разумеется, мисс Матильда и не подумала подчиниться, однако маменька, какой снисходительной ни была она прежде, в гневе отнюдь не отличалась мягкостью, которой требовала от гувернанток, и не собиралась безнаказанно спускать нарушения своей воли. После многих ссор между матерью и дочерью, многих бурных сцен, при которых мне стыдно было присутствовать, когда призванный на помощь папенька, не скупясь на проклятия и угрозы, подтверждал нарушенные материнские запреты – ведь даже он видел, что «Тилли, хотя из нее вышел бы отчаянный мальчишка, ведет себя не так, как положено благородной барышне», – Матильда наконец убедилась, что разумнее будет держаться подальше от запретных мест и тайно ускользать туда, лишь без ведома бдительной маменьки.

Не следует думать, будто меня это совершенно не коснулось и я избежала множества выговоров и косвенных упреков, которые вовсе не утрачивали своего жала от того, что ничего не говорилось прямо, но, напротив, ранили глубже, так как не позволяли сказать хоть слово в свое оправдание. Мне часто приказывалось развлечь мисс Матильду чем-нибудь другим, *напоминая* ей о требованиях и запретах маменьки. Я прилагала все усилия, но как можно было развлекать ее против воли, предлагая занятия, к которым ее сердце совершенно не лежало? И хотя я не ограничивалась только напоминаниями, мои короткие увещевания никакого впечатления не производили.

– *Милая* мисс Грей! Просто *поразительно!* Полагаю, от вас нельзя требовать того, что вам не дано природой, и все же я *удивляюсь*, что вам не удастся завоевать доверие девочки, так чтобы ваше общество было ей *по меньшей мере* столь же приятно, как компания Роберта или Джозефа!

– Но они лучше меня разбираются в том, что ее интересует, – отвечала я.

– Ну-ну! Согласитесь, *несколько странно услышать* такое признание из уст ее *гувернантки!* Кто, хотела бы я знать, может воспитать вкусы девочки, если ее гувернантка этим не занимается? Я *знавала* гувернанток, для которых изящество манер и благовоспитанность порученных их попечению девиц были как бы их собственными, и они *краснели от стыда*, если их за что-нибудь упрекали. А малейшее замечание по адресу их учениц причиняло им большее огорчение, чем обращенное к ним самим. И мне это представлялось только естественным.

– Вы так считаете, сударыня?

– Ну, разумеется! Манеры и изящество барышни важнее для гувернантки ее собственных. Как и для света. Если она хочет преуспеть на выбранном ею поприще, то должна отдавать своим обязанностям все силы. Все ее мысли, все помыслы должны служить лишь этой цели! Когда мы оцениваем достоинства гувернантки, то, естественно, смотрим на барышень, воспитанных ею, и судим о ней естественно. *Благоразумная* гувернантка это понимает. Она знает, что, хотя сама пребывает в тени безвестности, достоинства и недостатки ее учениц открыты всем взглядам и что достигнуть успеха она может, только если забудет о себе, образовывая их ум, манеры и вкусы. Видите ли, мисс Грей, это правило любой профессии: те, кто хотят преуспеть, должны вкладывать всю душу, все силы в свое занятие. Если же они начинают поддаваться лени или уступать своим прихотям, более трудолюбивые соперники скоро далеко их обгонят, а между той, которая губит своих учеников небрежением, и той, которая развращает их собственным примером, разницы нет никакой! Вы простите меня за такие наставления, но ведь вы понимаете, это ради вашей же пользы. Многие дамы говорили бы с вами куда строже, а многие избавили бы себя от труда говорить хоть что-нибудь и просто молча подыскали бы замену. Так, разумеется, было бы *легче всего*, но я понимаю все преимущество подобного места для особы в вашем положении, и у меня нет желания расставаться с вами, так как я уверена, что вас не в чем было бы упрекнуть, если бы вы только думали обо всем этом и прилагали *хоть чуточку* старания! Тогда бы, я убеждена, вы в *самом скором времени* приобрели бы тот тонкий такт, которого вам пока недостает, чтобы вы могли надлежащим образом влиять на свою ученицу.

Я намеревалась указать величественной даме на кое-какие погрешности в ее рассуждениях, но она уплыла прочь, едва договорив. Она высказала все, что считала нужным, а дожидаться моего ответа в ее планы не входило: мое дело было слушать и не возражать.

Однако, как я уже упомянула, Матильда под конец в какой-то мере подчинилась материнской власти (жаль только, что власть эту не употребили несколько раньше!) и, лишившись почти всех любимых развлечений, вынуждена была довольствоваться длинными верховыми прогулками в сопровождении грума и длинными пешими прогулками в сопровождении гувернантки, а также посещениями жилищ батраков и арендаторов своего отца, где можно было скоротать время, болтая со стариками и старухами, которые оставались дома, пока остальные трудились в полях. И вот во время одной такой прогулки мы повстречали мистера Уэстона. Я так давно об этом мечтала! Но тут мне захотелось, чтобы либо он, либо я перенеслись бы куда-нибудь еще: мое сердце забилося так отчаянно, что я испугалась, не выдала ли я своих чувств. Однако он, как мне показалось, даже не взглянул на меня, и я скоро успокоилась.

Коротко с нами поздоровавшись, он осведомился у Матильды, не получала ли она известий от сестры.

– Да, – ответила она. – Розали написала из Парижа, она прекрасно себя чувствует и очень счастлива.

Последнее слово она подчеркнула и сопровождала дерзким взглядом, но он словно бы ничего не заметил и ответил серьезно и столь же подчеркнуто:

– Надеюсь, так будет и впредь.

– А вы верите в вероятность этого? – осмелилась спросить я, потому что Матильда кинулась следом за своей левреткой, которая испугнула зайца.

– Не берусь предсказывать, – ответил он. – Возможно, сэр Томас окажется лучше, чем я думал. Но, судя по тому, что я слышал и видел, можно только пожалеть, что существо такое юное, веселое и... одним словом, обворожительное, чьим наибольшим, если не единственным недостатком было, видимо, легкомыслие... Да, разумеется, недостаток серьезный, ибо он открывает дорогу почти для всех остальных и делает того, кто им обладает, беззащитным перед соблазнами... Но можно только пожалеть, что ее отдали подобному человеку. Я полагаю, этого захотела ее мать?

– Да. Но и она сама тоже, мне кажется: она всегда смеялась над моими попытками отговорить ее.

– А вы пытались? В таком случае, если это кончится дурно, вам утешением послужит мысль, что вашей вины тут нет. Но как сможет миссис Мэррей оправдать свое поведение, я представить себе не в состоянии. Будь я знаком с ней покороче, то, наверное, не удержался бы и спросил прямо.

– Да, это выглядит противоестественным, но некоторые люди считают титулы и богатства высшими благами в жизни и полагают, что выполнили свой долг наилучшим образом, если сумели приобрести для своих детей и то и другое.

– Совершенно справедливо! Но не странно ли, что так ложно судят опытные женщины, сами вышедшие замуж?

Тут, запыхавшись, вернулась Матильда, держа за уши истерзанное тельце зайчонка.

– Вы намеревались спасти этого зайчика или убить его? – спросил мистер Уэстон, видимо сбитый с толку радостью, которой сияло ее лицо.

– Я притворилась, будто хочу его спасти, – честно призналась она. – Ведь до охотничьего сезона еще так далеко! Однако, конечно, смотреть, как Принцесса его прикончила, было куда интереснее. Но вы оба свидетели, что я ничего поделать не могла: Принцесса догнала его и перекусила ему спину в один момент! Чудесное было зрелище, верно?

– Весьма. Барышня в погоне за левреткой!

Она заметила легкий сарказм его ответа, пожала плечами, отвернулась с многозначительным «хм!» и спросила меня, как мне понравилась травля. Я ответила, что нравится тут, на мой взгляд, нечему, но призналась, что я следила за ними не очень внимательно.

– Разве вы не видели, как он сдвоил след, словно взрослый заяц? И как он заверещал, не слышали?

– Рада сказать, что нет.

– Просто заплакал, как младенец.

– Бедняжка! А что вы с ним сделаете?

– Идемте скорее! Оставлю в первой же лачуге. Домой я его нести не хочу, а то папа меня отругает, что я не отозвала собаку.

Мистер Уэстон уже ушел, и мы тоже направились своим путем, но, оставив зайца на первой же ферме и уничтожив предложенное взамен угощение – бисквит с тмином и смородиновое вино, – мы опять его встретили: видимо, он успел закончить свое дело, в чем бы оно не заключалось. В руке он держал букет чудесных колокольчиков, которые предложил мне, заметив с улыбкой, что, хотя последние два месяца меня совсем не было видно, тем не менее он не забыл, как я назвала колокольчики среди самых любимых своих цветов. Вручил он мне букет очень мило, но без комплиментов, без изысканной галантности и без взгляда, который можно было бы истолковать как «благоговейный, полный почтительного обожания» (см. Розали Мэррей), но все-таки он не забыл моих таких незначительных слов! Он точно помнил, с каких пор перестал меня видеть!

– Мне говорили, мисс Грей, – продолжал он, – что вы заядлый книголюб и настолько погружены в свои занятия, что никаких иных удовольствий не признаете.

– Да, так оно и есть! – объявила мисс Матильда.

– Нет, мистер Уэстон, не верьте этой возмутительной клевете! Наши барышни склонны преувеличивать и выносить суждения без каких-либо оснований, хотя и в ущерб своим друзьям. Так что будьте с ними осмотрительны.

– Во всяком случае, надеюсь, что это суждение не имеет под собой оснований.

– Но почему? Или вы противник женского образования?

– Отнюдь. Но я противник такой преданности занятиям у прекрасного пола, которая заставляет забывать обо всем остальном. За исключением особых обстоятельств, на мой взгляд, слишком усердные и непрерывные занятия – это лишь пустой перевод времени, причиняющий вред не только телесному, но и душевному здоровью.

– Что же, у меня нет ни досуга, ни склонности предаваться этим вредным излишествам.

И мы вновь расстались.

Ну-ну! И что тут такого примечательного? Почему я рассказала об этом? А потому, дорогой читатель, что этой встречи оказалось достаточно, чтобы подарить мне вечер, полный бодрости духа, ночь, полную сладких грез, и утро, полное радостных надежд. Неразумная бодрость, глупые грезы, беспричинные надежды, скажете вы, и я не посмею спорить – слишком часто такие подозрения приходили на ум и мне самой. Но наши желания подобны труту: камень и сталь обстоятельств то и дело высекают искры, которые тут же гаснут, если только не попадают на трут наших желаний, а тогда тотчас вспыхивают огнем надежды.

Но, увы! В то же самое утро колеблющееся пламя моих надежд погасло – я получила письмо от мамы, полно такой тревоги, что я сразу поняла: болезнь папы усилилась и они опасаются, что ему более не встать. Хотя время моего отпуска было совсем близко, я содрогнулась от страха, что мне уже не доведется свидеться с ним в этом мире. Два дня спустя Мэри известила меня, что надежды не остается никакой и конец его близок. Я сразу же попросила у миссис Мэррей разрешения уехать немедленно. Она с недоумением посмотрела на меня, озадаченная смелостью, с какой я настаивала на своей просьбе, и выразила мнение, что повода для спешки нет. В конце концов разрешение она все-таки дала, не преминув, впрочем, добавить, что не видит «особых причин для волнения: скорее всего это окажется ложной тревогой, если же нет, то ведь таков закон природы и все мы должны когда-нибудь умереть, и не стоит воображать, будто во всем мире только меня одну постигло горе». В заключение она сказала, что распорядится, чтобы меня в О. отвезли в фаэтоне. «И вместо того чтобы *горевать*, мисс Грей, будьте благодарны за *блага*, которыми пользуетесь. Сколько найдется бедных священников, чьи семьи их кончина ввергла в полную нищету, но у вас есть влиятельные друзья, готовые покровительствовать вам и впредь, оказывая вам всяческое внимание».

Я поблагодарила ее за «внимание» и бросилась к себе в комнату поскорее собраться в дорогу, – кое-как уложив все необходимое в самый большой из моих сундучков, я спустилась с ним в переднюю. Но могла бы и не торопиться: никто, кроме меня, не спешил, и я дожидалась фаэтона очень долго. Наконец он подъехал, и я отправилась в путь, но – ах! – как мало это походило на мои прежние возвращения домой! Я опоздала на последний дилижанс в... и должна была нанять

экипаж, а через десять миль сменить его на повозку, так как извозчик отказался ехать по крутым косогорам, и домой я добралась лишь в половине десятого вечера. Но они еще не легли.

Мама и сестра встретили меня на пороге – грустные, безмолвные, бледные... Я была так растеряна и так испугана, что не решалась задать вопрос, ответа на который и жаждала и боялась.

– Агнес! – наконец вымолвила мама, стараясь подавить какое-то сильное чувство.

– Ах, Агнес! – вскрикнула Мэри и залилась слезами.

– Как он? – еле вымолвила я.

– Скончался.

Я ждала этого ответа, и все равно была ошеломлена.

Глава XIX ПИСЬМО

Прах моего отца упокоился в склепе, и мы в темной одежде удрученно сидели у стола со скудным завтраком и обсуждали планы нашей будущей жизни. Сильный характер мамы выдержал и это горе. Дух ее был сокрушен, но не сломен. Мэри считала, что я должна вернуться в Хортон-Лодж, мама же переедет жить к ним – она утверждала, что мистер Ричардсон желает этого не меньше, чем она сама, и они прекрасно устроятся: общество мамы, ее житейский опыт украсят их существование, они же будут всячески стараться, чтобы она чувствовала себя с ними счастливой. Однако все доводы и уговоры пропали втуне: мама твердо решила не обременять их. О нет, она знала, что ее приглашают с радостью и с самыми лучшими намерениями, но, сказала она, пока здоровье и силы ей не изменили, она будет сама снискивать себе пропитание, чтобы не быть никому обязанной, пусть даже тем, кто искренне хочет служить ей опорой. Если бы она могла быть платной гостьей в их домике... конечно, она поселилась бы там, но раз у нее нет для этого средств, она будет приезжать к ним лишь на короткий срок и останется под их кровом надолго, только если болезнь или иное несчастье потребуют ее помощи – во всяком случае пока дряхлость не лишит ее возможности самой себя содержать.

– Нет, Мэри, – сказала она, – если у вас с Ричардсоном есть лишние деньги, вам следует откладывать их для ваших будущих детей, мы же с Агнес должны сами собирать для себя мед. Благодаря тому что мне пришлось воспитывать своих дочерей без посторонней помощи, я не забыла того, чему училась. Если на то будет Божья воля, я справлюсь с бесполезной горестью... – Тут мама умолкла, вытерла слезы, которые катились по ее щекам, как она ни старалась их сдержать, решительно покачала головой и продолжала: – Я приложу все усилия, чтобы найти небольшой дом, удобно расположенный в какой-нибудь густонаселенной, но здоровой местности, и мы откроем пансион для благородных девиц – если нам удастся их найти, – а также возьмем столько приходящих учениц, сколько поручат нашим заботам или же сколько будет в наших силах взять. Родные вашего отца и старые наши друзья, без сомнения, сумеют прислать нам учениц или помогут рекомендациями – к моим собственным родственникам я обращаться не стану. Что скажешь, Агнес? Готова ли ты отказаться от своего нынешнего места и помогать мне?

– С большой радостью, мама, а деньги, которые я скопила, можно будет употребить на мебелировку. Я немедленно заберу их из банка.

– Подождем, пока они понадобятся. Сначала надо подыскать дом и все подготовить.

Мэри предложила взаймы свои деньги – все, что у нее было, но мама отказалась, сказав, что мы должны полагаться на собственные силы: по ее расчету, моих денег или даже части их в совокупности с тем, что нам удастся выручить за мебель, и с той небольшой суммой, которую милый папа сумел все-таки отложить, расплатившись с долгами, должно нам с лихвой хватить до Рождества, а к тому времени, будем надеяться, наши неустанные труды начнут приносить какой-то доход. На этом мы в конце концов и порешили. Вести приготовления и наводить справки начнем немедленно, этим займется мама, а я, когда истекут четыре недели моего отпуска, вернусь в Хортон-Лодж и предупрежу о своем уходе через тот срок, который потребует, чтобы подготовить все к скорейшему открытию нашего пансиона.

Описанный мной разговор мы вели примерно через две недели после кончины папы, и мы

еще не встали из-за стола, когда маме принесли письмо. Едва она взглянула на него, как к ее щекам, побледневшим от долгих бдений у постели умирающего и от неутешного горя, вдруг прихлынула кровь.

– От моего отца, – пробормотала она, торопливо разрывая конверт. Уже много лет она не получала никаких известий от своих родных, и я с понятным любопытством следила за ее лицом, пока она читала письмо, и, к своему изумлению, увидела, что мама закусила губу и нахмурилась, словно рассердившись. Затем, небрежно бросив листок на стол, она сказала с презрительной улыбкой:

– Ваш дед был столь любезен, что написал мне. Он не сомневается, что я давно уже сожалею о своем «злополучном замужестве», и, если только я подтвержу это и признаюсь, что поступила дурно, когда пренебрегла его советом и заслуженно из-за этого страдала, он вернет мне возможность стать благородной дамой – если я еще не безнадежно опустила – и упомянет в своем завещании моих дочерей. Мэри, подай мне, пожалуйста, бювар и прикажи убрать со стола, я хочу ответить немедленно. Но сначала я объясню вам, что намерена написать – ведь из-за этого вы обе можете лишиться почти уже обещанного вам наследства. Я напишу ему, что он неверно полагает, будто я могу сожалеть о рождении моих дочек (которые составляют гордость моей жизни и будут моей надежной опорой в старости!) и о тех тридцати годах, которые я провела с моим дорогим, незабвенным другом; что будь наши невзгоды троекратно более тяжкими (лишь бы не я была их причиной!), я лишь вдвое больше радовалась бы, что разделяла их с вашим отцом и доставляла ему то утешение, какое могла; что будь его последняя болезнь в десять раз мучительнее, я ухаживала бы за ним столь же усердно и ни на что не роптала бы; что, если бы он нашел себе жену богаче, несчастья и беды все равно не обошли бы его стороной, но я эгоистично убеждена, что никакая другая женщина не сумела бы лучше меня поддерживать в нем бодрость духа; не то чтобы я лучше других, но просто я была создана для него, а он для меня, и я равно не могу сожалеть о проведенных нами вместе днях, месяцах, годах счастья, какого ни он, ни я не знали бы ни с кем другим, как не могу раскаяться в том, что мне была дана великая честь ухаживать за ним в болезни и быть его опорой в бедах. Вы согласны, девочки? Или мне написать, что мы очень сожалеем об этих тридцати годах и мои дочери предпочли бы вовсе не родиться на свет? Но раз уж они имели такое несчастье, то будут благодарны за любые крохи, какие их дедушке будет благоугодно им уделить?

Разумеется, мы обе поддержали маму в ее решении. Мэри сама убрала со стола, я принесла бювар, письмо было тут же написано и отослано, и с того дня мы не получали никаких известий о деде, пока много лет спустя не увидели в газете объявление о его кончине – все его имущество, несомненно, было оставлено нашим богатым двоюродным братьям и сестрам, которых мы никогда в жизни не видели.

Глава XX ПРОЩАНИЕ

Под наш пансион мы наняли дом в А., модном приморском курорте, и нам были обещаны две-три пансионерки. Я вернулась в Хортон-Лодж в середине июля, оставив маму довести до конца переговоры о найме дома, подыскать еще учениц, продать старую мебель и обставить наше новое жилище.

Мы часто жалеем бедняков, потому что у них нет досуга, чтобы оплакивать дорогих умерших, и нужда заставляет их работать, каким бы тяжким ни было их горе. Но разве полезная деятельность не лучшее лекарство от печали, не самое верное противоядие от отчаяния? Да, труд – суровый утешитель. Когда радости жизни утратили для нас прелесть, не жестоко ли обременять нас ее заботами? И вынуждать работать, когда смятенный дух взывает лишь о покое, чтобы плакать в молчании? Но разве труд не лучше покоя, который мы ищем? А мелкие обыденные заботы разве тягостней, чем мысли о невозвратимой потере, чем рыдания? К тому же хлопотать, тревожиться без надежды нельзя – пусть это будет лишь надежда завершить докучливую работу, сделать что-то необходимое или избежать новой беды. Как бы то ни было, я радовалась, что для деятельной натуры мамы нашлось столько занятий. Наши добрые соседи горячо ей сострадали – она,

некогда знавшая и богатство, и высокое положение в свете, теперь в час горя доведена до такой крайности! Однако я убеждена, что она страдала бы втройне, если бы располагала богатством и могла остаться в доме, где все напоминало, бы ей о былом счастье и недавней потере и суровая необходимость не препятствовала бы тому, чтобы она вновь и вновь возвращалась мыслями к постигшему ее горю и предавалась отчаянию.

Не стану описывать чувства, с какими я покинула старый дом, любимый сад, деревенскую церквушку, теперь вдвойне дорогую моему сердцу, потому что мой отец тридцать лет проповедовал и молился в ее стенах, а теперь спал вечным сном под ее плитами, и угрюмые обнаженные холмы, прекрасные в своей суровости, с узкими долинами между ними, где зеленели рощи и струились прозрачные речки, – дом, где я родилась, места, где прошло мое детство, где с самых ранних лет сосредоточивались все мои привязанности... И вот я покинула их, чтобы больше не возвращаться! Правда, ехала я в Хортон-Лодж, где среди многих зол пока сохранялся единственный источник радости, но к этой радости примешивалась мучительная боль, срок же моего пребывания там, увы, равнялся шести неделям! Но даже эти бесценные дни ускользали один за другим, а я видела его только в церкви! Прошли две недели после моего возвращения, и мне все еще не довелось с ним встретиться. Мне они показались нескончаемыми, а так как моя непоседливая ученица постоянно уводила меня гулять, во мне вновь и вновь вспыхивала надежда, чтобы тут же смениться жестоким разочарованием. И я думала: «Вот же неопровержимое доказательство, если бы только у тебя хватило здравого смысла его разглядеть и честно признать, что он к тебе равнодушен. Да если бы он думал о тебе и вполтину так много, как ты думаешь о нем, то сумел бы увидеться с тобой уже не раз – спроси свое сердце, и оно подтвердит это! Так забудь этот вздор! Тебе не на что надеяться! Немедленно выкини из головы эти мучительные мысли и глупые желания, думай только о своем долге и однообразной пустой жизни, которая тебе предстоит. Уж кажется, ты могла бы понять, что подобное счастье не для тебя?»

И все же я с ним увиделась. Он неожиданно нагнал меня, когда я возвращалась через луг от Нэнси Браун, которую поторопилась навестить, пока мисс Матильда каталась на своей бесподобной кобыле. Он несомненно слышал о моей тяжелой утрате, но не выразил сочувствия, не предложил своих соболезнований, а сразу же спросил:

– Как ваша матушка?

И это не был само собой разумеющийся вопрос, так как я ни разу не упомянула при нем, что у меня есть мать. Значит, он узнал об этом от других, и в самом вопросе, и в его тоне слышались благожелательность и даже глубокое искреннее сострадание! Я поблагодарила его по всем правилам вежливости и ответила, что она чувствует себя настолько хорошо, насколько это возможно при подобных обстоятельствах.

– Что она думает делать дальше? – был второй вопрос.

Многие сочли бы его неприличным и ответили бы уклончиво, но мне это и в голову не пришло, и я коротко рассказала о планах мамы и ее надеждах.

– Значит, вы скоро отсюда уедете? – спросил он.

– Да, через месяц.

Он помолчал, словно задумавшись. Когда он заговорил, я надеялась услышать, что его огорчает мой отъезд, но он сказал только:

– Я полагаю, вы уедете охотно?

– Да, но не совсем.

– Не совсем? Но о чем же вы можете сожалеть?

От смущения я даже рассердилась – у меня была лишь одна причина желать остаться здесь, однако посягать на эту тайну он никакого права не имел.

– Но почему, – сказала я, – почему вы полагаете, что мне здесь так не нравится?

– Вы сами мне об этом говорили, – ответил он прямо. – Вернее, высказали, что жизнь без друзей вам в тягость, а друзей у вас тут нет и нет надежды найти родственную душу. Да я и сам знаю, что вам тут не может нравиться.

– Я сказала, что не могла бы жить, если бы у меня не было ни одного друга во всем мире. Но я понимаю, насколько неразумно было бы требовать, чтобы мой друг всегда был рядом со мной.

Мне кажется, я была бы счастлива и в доме, полном моих врагов, если бы только... (Нет-нет, эту фразу я продолжить не могла!) И нельзя расстаться с местом, где прошли два-три года твоей жизни, без всяких сожалений.

– Вам будет грустно расстаться с мисс Матильдой, единственной теперь вашей ученицей и собеседницей?

– Возможно. Я не без печали рассталась с ее сестрой.

– О, это я могу понять.

– Что же, мисс Матильда ничуть ее не хуже, а в одном отношении, пожалуй, что и лучше.

– В каком же?

– Она прямодушна.

– А та – нет?

– О, *криводушной* я бы ее не назвала, но некоторые притворства в ней отрицать нельзя.

– Притворства? Вот как? Я видел, что она своевольна и тщеславна... А теперь, – прибавил он после паузы, – могу поверить в ее склонность к притворству, причем столь тонкому, что оно обрело подобие совершенной безыскусности и доверчивой откровенности. Да, – продолжал он задумчиво, – вот чем объясняются некоторые пустяки, которые прежде ставили меня в тупик.

Затем он перевел разговор на более общие темы и расстался со мной почти у самых ворот парка – несомненно сделав порядочный крюк, так как повернул назад и скрылся за зеленой изгородью Мшистой дороги, мимо которой мы с ним прошли. Об этом я нисколько не жалела: меня огорчало только, что он все-таки ушел, что я уже не слышу его голоса и наша короткая чудная беседа окончилась. Он не произнес ни единого слова любви, не намекнул на нежность или дружескую симпатию, и все же я была на седьмом небе от счастья. Идти рядом с ним, слушать, что он говорит, чувствовать, что он считает меня достойной собеседницей, способной понять и оценить его мысли, – этого было достаточно!

«Да, Эдвард Уэстон, я поистине могла бы быть счастлива в доме, полном моих врагов, если бы только у меня был один-единственный друг, который искренне, глубоко и верно любил бы меня. И если бы этим другом оказался ты, пусть мы были бы разлучены, пусть редко получали бы друг от друга весточки, а встречались бы еще реже, пусть я не знала бы отдыха от тяжелого труда, забот и невзгод, – все равно это было бы счастьем, о котором я боюсь и мечтать! И все же, как знать, – продолжала я этот мысленный монолог, проходя по парку, – как знать, что может принести даже этот последний месяц? Я прожила на свете почти двадцать три года, страдала много, а радости пока еще почти не видела. Так неужели моя жизнь будет столь же пасмурной до самого конца? Ведь может же Бог услышать мои молитвы, разогнать темные тучи и подарить мне немножко солнечного сияния? Ужели Он вовсе лишит меня тех благ, которые столь щедро раздаются другим, которые не просят о них и не замечают, когда получают их! Почему же я не могу еще надеяться и уповать?»

И некоторое время я надеялась и уповала, но, увы, увы, время иссякало, третья неделя сменялась четвертой, а я лишь раз заметила его вдалеке да поздоровалась с ним, когда он встретил нас с мисс Матильдой на прогулке. Ну, и конечно, видела его на церковной кафедре.

Но вот настало последнее воскресенье, в последний раз я села в свой уголок на этой скамье. Во время проповеди я не раз готова была изойти слезами – последняя его проповедь, которую я услышу, лучшая из всех, какие я когда-либо услышу, – уж в этом я не сомневалась. Служба кончилась, прихожане начали расходиться, направилась к дверям и я. В последний раз я видела его, в последний раз слышала его голос – наверное, наверное, так! Снаружи к Матильде бросились обе мисс Грин, засыпали ее вопросами о сестрице и, право, не знаю о чем еще. Мне не терпелось, чтобы они кончили, чтобы мы побыстрее вернулись в Хортон-Лодж и, укрывшись у себя в комнате или в укромном уголке сада, я могла бы дать волю своим чувствам – оплакать наступившую разлуку, мои ложные надежды и обманчивые мечты. Один-единственный раз, а затем навеки отказаться от глупых грез и думать лишь о серой, непреодолимой, грустной действительности. И тут я услышала негромкий голос:

– Вы уезжаете на этой неделе, мисс Грей?

– Да, – ответила я, растерявшись от неожиданности, и наверное не сумела бы сдержаться,

будь мне хоть в малейшей степени свойственна истеричность. Слава Богу, что этого нет!

– Ну, что же, – продолжал мистер Уэстон. – Я хотел бы попрощаться с вами, ведь вряд ли я увижу вас до вашего отъезда.

– Прощайте, мистер Уэстон, – сказала я (ах, какое усилие я сделала над собой, чтобы мой голос не дрогнул!) и протянула ему руку. Он на несколько секунд задержал ее в своей.

– Быть может, нам еще доведется встретиться, – сказал он. – Вам это будет безразлично?

– Разумеется, нет. Я всегда буду рада вас видеть.

Ответить суше у меня не хватило сил. Он ласково сжал мою руку, и мы расстались. Но я вновь была охвачена счастьем – хотя даже с еще большим трудом сдерживала слезы. Если бы мне пришлось в эту минуту заговорить, я, несомненно, разрыдалась бы. Но даже и так мне пришлось утереть повлажневшие глаза. Я шла рядом с мисс Матильдой, слегка отвернув голову, и не отвечала ей, пока она не крикнула сердито, что я не то оглохла, не то совсем sdурела, и тогда я повернулась к ней, словно очнувшись от глубокой рассеянности (мне уже удалось овладеть собой), и заметила, что она, кажется, что-то сказала?

Глава XXI ПАНСИОН

Я уехала из Хортон-Лоджа прямо в А., где мама уже ожидала меня в нашем новом жилище. Я нашла ее здоровой, смирившейся с горем, даже бодрой, хотя в ней появилась непривычная грустная сдержанность. У нас пока были всего три пансионерки и шесть приходящих учениц, но мы надеялись с самого начала так себя зарекомендовать, чтобы число и тех и других вскоре заметно увеличилось.

Я взялась за свои новые обязанности с большим усердием. «Новыми» я называю их потому, что учить и воспитывать под началом мамы было совсем другим, чем пытаться делать это в роли жалкой наемницы среди чужих людей, когда тобой презрительно помыкают и стар и млад. И в первые месяцы я вовсе не чувствовала себя несчастной. Вновь и вновь у меня в ушах звучали фразы: «Быть может, нам еще доведется встретиться» и «Вам это будет не безразлично?» и согревали мое сердце, служа мне тайным утешением и поддержкой. «Я увижу его! Он придет или напишет!» – вот такие и еще более дерзкие мечты нашептывала мне Надежда. О нет, я не верила ей, я притворялась, что посмеиваюсь, но, видно, доверчивость моя была много сильнее, чем казалось мне. Иначе, почему у меня оборвалось сердце, когда в дверь постучали и горничная доложила маме, что ее спрашивает какой-то джентльмен? И почему мое настроение испортилось до конца дня, когда выяснилось, что проживающий неподалеку учитель музыки пришел предложить свои услуги? И почему у меня прервалось дыхание, когда почтальон принес два письма и мама со словами: «Агнес, это тебе» протянула мне одно? И отчего кровь бросилась мне в лицо, когда я увидела, что адрес написан мужской рукой? И почему, о, почему я испытала леденящее отчаяние, когда вскрыла конверт и увидела, что это *всего лишь* письмо от Мэри, адресовать которое она почему-то поручила мужу?

Неужели дошло до этого? Я *огорчаюсь*, получая письмо от своей единственной сестры, потому что оно – не от человека, в сущности почти незнакомого? Милая Мэри! А она-то писала его с такой любовью, думая меня обрадовать! Да я не достойна читать его! Возмущаясь собой, я, наверное, отложила бы его в сторону, чтобы привести себя в чувство и получить право вскрыть его, но мама смотрела на меня, желая узнать его содержание, а потому я все-таки прочла листок, передала его маме и пошла в классную комнату к ученицам. Но, диктуя, проверяя примеры, поправляя ошибки, выговаривая за шалости, я мысленно упрекала себя куда более сурово. «Какая же ты дурочка! – объявила моя голова сердцу (или сильная сторона моей натуры – более слабой). – Как ты могла даже мечтать, что он напишет тебе? Какие есть у тебя основания для такой надежды? Или что он увидится с тобой, станет затрудняться из-за тебя? Или вообще вспомнит о тебе?» – «Какие основания?» И тут Надежда вновь воскресила в моей памяти нашу последнюю короткую встречу и повторила слова, которые так бережно хранило мое сердце. «Ну, и много ли они значат? Кто когда опирался на столь хрупкую тростинку? Что в них, чего не мог бы сказать просто знакомый? Ведь

вполне возможно, что вы снова встретитесь. Пусть даже ты уезжала бы в Новую Зеландию. Из этого же вовсе не следует, что он *намерен* искать с тобой встречи. И следующий вопрос мог бы задать кто угодно. А как ты ответила? Глупой, общепринятой фразой, как могла бы ответить мистеру Мэррею, да и любому, кому была бы обязана вежливостью!» – «Но как же, – не отступала Надежда – его тон, вся его манера?» – «А вздор! Он всегда говорил очень выразительно. Мимо шли люди, впереди Матильда болтала с девицами Грин, и он должен был встать поближе к тебе и говорить понизив голос, если не хотел, чтобы его слышали. А хотеть этого, пусть он ничего такого и не говорил, он не мог!» Ну, а самое главное – это выразительное и такое нежное пожатие руки, которое, казалось, говорило: *«Верьте мне!»* И еще многое, многое другое, такое чудесное и столь лестное, что даже себе повторить этого я не могу! «Пустые, самодовольные выдумки, настолько вздорные, что и опровергать их глупо. Игра воображения, которой ты должна стыдиться! Если бы ты потрудились вспомнить свою непривлекательную внешность, колючую сдержанность, глупую застенчивость, из-за которой ты, конечно, кажешься холодной, неловкой, скучной, а может быть, и сварливой, – если б ты потрудились с самого начала все это вспомнить и взвесить, так никогда бы не посмела питать такие дерзкие надежды. Ну, а теперь довольно глупостей! Помолись о раскаянии и смирении и впредь ничего подобного не допускай!»

Не могу сказать, чтобы я безупречно исполняла собственное требование, но время шло, от мистера Уэстона не было никаких вестей, и подобные доводы становились всеболее весомыми, пока в конце концов я не прогнала последнюю надежду, ибо даже мое сердце признало ее самообманом. И все-таки я думала о нем, лелеяла в душе его образ и бережно хранила в памяти каждый взгляд, каждое слово, каждый жест, которые она запечатлела, и непрерывно возвращалась мыслью к его достоинствам, особенностям и – короче говоря – ко всему, чем мои глаза, слух и фантазия наделили его.

– Агнес, морской воздух и перемена обстановки, мне кажется, не пошли тебе на пользу! Я никогда еще не видела тебя такой приунывшей. Ты слишком много сидишь в четырех стенах и чересчур близко к сердцу принимаешь мелкие школьные неприятности. Научись смотреть на них легко, будь бодрее, деятельнее. Гуляй как можно чаще, а наиболее скучные обязанности оставляй на меня. Мне даже полезно испытать свое терпение и немножечко посердиться.

Вот что сказала мама как-то утром в пасхальные каникулы, когда мы обе сидели с рукоделием. Я возразила, что мои обязанности нисколько меня не утомляют и что я совсем здорова. А если что-нибудь немножко и не так, то стоит миновать трудным весенним месяцам, и все пройдет бесследно – летом она увидит меня такой веселой и крепкой, какой только может пожелать. Однако ее слова сильно меня смутили. Я чувствовала, что понемногу слабею, у меня пропал аппетит, уныние и вялость все более овладевали мною. Но раз я ему безразлична и мне больше не суждено его увидеть, раз мне возбраняется заботиться о его счастье, возбраняется вкушать радости любви, благословлять и быть благословенной, тогда жизнь превращается в тяжкое бремя, и, если бы Отец Небесный призвал меня к себе, я с благодарностью обрела бы вечный покой. Но умереть и оставить маму горевать? Бессердечная, недостойная дочь, как ты могла хотя бы на миг забыть о ней?! Разве не на тебя возложен теперь долг заботиться о ее душевном спокойствии? И о благополучии наших юных учениц? Неужели я пренебрегу обязанностями, которые ниспослал мне Бог, потому что меня больше влечет другое? Не Ему ли знать, что я должна делать и на какой ниве трудиться? И смею ли я мечтать о том, чтобы прервать свое служение Ему до того, как выполню порученное мне, – о том, чтобы упокоиться в лоне Его прежде, чем трудами оправдаю право на это? «Нет! С Его помощью я воспряну и отдам все силы выполнению назначенного мне долга. Если счастье в этом мире мне не суждено, я попытаюсь содействовать благу моих ближних и обрести воздаяние в жизни той!» Вот что я решила в своей душе и с этой минуты позволяла своим мыслям обращаться к Эдварду Уэстону – а вернее, задерживаться на нем – лишь изредка, в качестве особой награды. Не знаю, наступление ли лета или благотворное действие этого решения сыграло тут роль, или всеисцеляющее время, или все это вместе взятое, но душевное мое равновесие вскоре восстановилось, а телесное здоровье и деятельный дух также начали ко мне возвращаться медленно, но верно.

В первых числах июня я получила письмо от леди Эшби, урожденной мисс Мэррей. Она два-

три раза написала мне во время свадебного путешествия – в великолепном настроении, утверждая, что необыкновенно счастлива, и я только недоумевала, как в этом вихре удовольствий и новых впечатлений она еще не забыла о моем существовании. Затем, однако, наступило долгое молчание, и, казалось, она перестала вспоминать обо мне, потому что семь с лишним месяцев от нее не пришло ни строчки. Разумеется, *это* никакой сердечной боли мне не причиняло, хотя довольно часто я старалась представить себе, как-то ей теперь живется, а потому неожиданное послание меня скорее обрадовало. Помечено оно было Эшби-Парком, куда она наконец возвратилась после странствий по Европе и столичных увеселений. После множества извинений – она все время обо мне помнила и намеревалась написать мне и так далее, и тому подобное, но вечно что-нибудь да мешало – она призналась, что вела весьма рассеянную жизнь, и, уж конечно, я сочла бы ее очень легкомысленной и скверной, однако она много размышляла и поняла, что ей очень бы хотелось повидать меня. «Мы живем тут уже несколько дней, – продолжала она, – а гостей – никого и скука неимоверная. Вы ведь знаете, мысль о том, чтобы ворковать с муженьком в семейном гнездышке с глазу на глаз, меня никогда не прельщала, будь он даже самым восхитительным созданием, когда-либо носившим фрак, а потому сжальтесь и навестите меня. Вероятно, ваши летние вакации начнутся в июне, как у всех, а потому вам не удастся сослаться на занятия, и вы должны приехать *непрерывно* и без отговорок, не то я просто умру. Я хочу, чтобы вы погостили у меня *по-дружески* и подольше. Как я уже сказала, тут никого нет, кроме сэра Томаса и старой леди Эшби, но о них не думайте – докучать нам своим присутствием они не станут. И у вас будет прекрасная комната, где вы сможете при желании уединяться, и масса книг, если мое общество вам прискутит. Не помню, любите ли вы младенцев. Если да, то сможете насладиться видом моего, самого прелестного ребеночка на свете, тем более что я избавлена от кормления – я с самого начала твердо положила, что затруднять себя этим не буду. Одна беда: это девочка, и сэр Томас меня еще не простил. Однако, если вы только приедете, даю вам слово, что вы станете ее гувернанткой, едва она научится лепетать, и будете воспитывать ее, как должно, чтобы она выросла более хорошей женщиной, чем ее маменька. И вы увидите моего пуделя – неотразимого чаровника, привезенного из Парижа, и два прекрасных итальянских полотна, очень дорогие, не помню только, чьей кисти. Без сомнения, вы сумеете обнаружить в них величайшие красоты, которые затем укажете мне, ибо мне дано восхищаться только с чужих слов, – не говоря уже о массе всяких диковинок и прелестных безделушек, которые я накупила в Риме и других местах. И наконец, вы увидите мое новое жилище – великолепный дом и парк, которые я так страстно желала! Увы, насколько сладость предвкушений превосходит радости обладания! Какой нравоучительный вывод! Уверю вас, я совсем уже превратилась в серьезнейшую, чинную матрону, – прошу вас, приезжайте, хотя бы для того, чтобы узреть столь чудесное преображение. Напишите с ближайшей же почтой, когда начинаются ваши вакации, и сообщите, что выезжаете на следующий же день, и останетесь до предпоследнего их дня из жалости к любящей вас *Розали Эшби*».

Я показала это странное послание маме и спросила ее мнение, как мне следует поступить. Она посоветовала поехать – что я и сделала. Мне хотелось повидать леди Эшби – и ее дочку – и помочь ей, насколько в моих силах, утешениями и советом, так как я не сомневалась, что она очень несчастна: иначе она не написала бы мне, и уж во всяком случае – в подобном тоне. В то же время, как нетрудно догадаться, я чувствовала, что, принимая ее приглашение, приношу ей немалую жертву и во многих отношениях прямо себя насилую, и вовсе не изнемогаю от восхищения, что столь важная особа, как супруга баронета, удостоивает меня чести погостить у нее по-дружески. Впрочем, я решила побыть у нее лишь несколько дней, и – не стану отрицать – меня утешала мысль о том, что Эшби-Парк расположен неподалеку от Хортон и я, возможно, увижу мистера Уэстона или хотя бы что-нибудь про него узнаю.

Глава XXII ЭШБИ-ПАРК

Эшби-Парк бесспорно производил самое лучшее впечатление. Дом был изящен снаружи и элегантен внутри, парк – обширен и красив, хотя и расположен на плоской равнине. Однако Ста-

рые величественные деревья, стада оленей, широкое озеро и густой лес, в которые он переходил, во много искупали отсутствие той легкой холмистости, которая придает особую прелесть парковым ландшафтам. Так вот какое имение Розали Мэррей жаждала назвать своим столь страстно, что готова была принять любые условия, лишь бы стать его совладелицей, в какую бы цену ни обошелся титул его хозяйки и с кем бы ей ни пришлось разделить честь и блаженство подобного права! Что же, теперь я не была склонна порицать ее за это.

Она приняла меня очень мило, и хотя я была дочерью бедного священника, гувернанткой, учительницей в пансионе, встретила меня с искренней радостью и – к некоторому моему удивлению – постаралась сделать мое пребывание под ее кровом как можно приятнее. Правда, я сразу заметила, что от меня ждут неумеренных восторгов и робкого благоговения перед окружающим великолепием, и, признаюсь, мне несколько претили ее видимые усилия ободрить меня, помешать совсем уж оробеть от такой роскоши, или исполниться слишком уж благоговейного страха перед встречей с ее супругом и свекровью, или слишком уж устыдиться своей смиренной внешности. Ведь я нисколько не считала, что у меня есть причины чего-либо стыдиться: я не пыталась сделать себя привлекательной, но позаботилась о том, чтобы выглядеть достаточно хорошо одетой и держаться с достоинством, и чувствовала бы себя куда более непринужденно, если бы моя хозяйка в своей восхитительной снисходительности не старалась с таким упорством рассеять мою несуществующую робость. А что до окружавшего ее великолепия, оно поразило меня куда меньше, чем перемена в ней. То ли светский образ жизни, то ли еще какое-то дурное влияние были тут причиной, но двенадцать месяцев с небольшим подействовали на нее, как такое же количество лет: ее фигура утратила недавнюю безупречность, цвет лица – былую свежесть, движения – живость, а дух – неиссякаемую веселость.

Я подумала, что она, вероятно, несчастна, но не считала себя вправе спрашивать об этом. Мне оставалось только завоевать ее доверие, если она предпочтет скрыть от меня свои супружеские невзгоды, но не докучать ей назойливыми расспросами. А потому я ограничилась тем, что спросила ее о здоровье, не поскупилась на похвалы парку и крошечной девочке, по ошибке не родившейся мальчиком, – слабенькой малютке семи-восьми недель от роду, на которую мать смотрела, казалось, без особого интереса или нежности, но именно так, как я от нее и ожидала.

Через несколько минут она поручила горничной отвести меня в предназначенную мне спальню и присмотреть, есть ли там все, что мне может понадобиться. Это оказалась небольшая, скромно обставленная, но достаточно удобная комнатка. Когда же я, переодевшись с дороги и придав своему туалету элегантность, которая должна была удовлетворить мою титулованную хозяйку, спустилась вниз, она сама проводила меня в комнату, куда бы я могла удалиться, когда захочу побыть одна либо когда ей придется принимать визитеров, или сидеть со свекровью, или по какой-нибудь еще причине, как она выразилась, лишиться себя удовольствия от моего общества. Небольшая, мило обставленная гостиная мне понравилась, и я была рада, что у меня будет этот тихий приют.

– Попозже я покажу вам библиотеку: я ни разу не смотрела, что там стоит на полках, но уж наверное они полны самых мудрых книг, и вы можете рыться в них сколько вашей душе угодно. А теперь вам подадут чай. Скоро, правда, обед, но я подумала, вы ведь привыкли обедать в час дня и потому теперь чашка чая доставит вам больше удовольствия, а обедать вы будете во время нашего второго завтрака – в таком случае вы сможете пить чай в этой комнате и будете избавлены от необходимости обедать с сэром Томасом и леди Эшби, что было бы несколько неловко... то есть не неловко, но... ах, вы же понимаете, что я хочу сказать: мне подумалось, что вас это может стеснить, тем более что у нас иногда обедают знакомые...

– Разумеется, – ответила я, – это отличный план. И если вы ничего не имеете против, я бы предпочла и завтракать и обедать здесь.

– Но почему?

– Мне кажется, так будет приятнее леди Эшби и сэру Томасу.

– Да ничего подобного!

– Во всяком случае, так будет приятнее мне.

Она что-то возразила, но уступила очень быстро и, по-моему, испытала большое облегчение.

– Ну, а теперь идемте в парадную гостиную, – сказала она. – Слышите, звонят? Пора переодеваться к обеду, но я не пойду. Какой смысл переодеваться, если на тебя некому смотреть, а мне хочется немножко поболтать с вами.

Гостиная, бесспорно, была великолепна и обставлена с большим вкусом, но я перехватила взгляд молодой хозяйки дома, которая, несомненно, ждала выражений восторга, а потому решила сохранять выражение каменного равнодушия, словно не увидела ничего достойного внимания. Но тут же почувствовала укол совести: «Почему я должна разочаровать ее ради глупой гордости? Нет, лучше я пожертвую гордостью, чтобы доставить ей невинную радость». И я посмотрела вокруг с искренним восхищением и сказала, что комната очень благородных пропорций и чрезвычайно элегантна. Она промолчала, но я заметила, что мои слова ей польстили.

Она показала мне толстенького французского пуделя, который свернулся калачиком на шелковой подушке, и две итальянские картины, которые, впрочем, не дала мне толком посмотреть, объявив, что на это у меня еще хватит времени, а пока – вот инкрустированные драгоценными камнями часики, которые она купила в Женеве. Затем она повела меня по комнате, показывая всевозможные дорогие поделки, которые привезли из Италии: изящные настольные часы, несколько бюстов, прелестные статуэтки и вазы – все красиво изваянные из белоснежного мрамора. О них она говорила с оживлением и выслушивала мои похвалы с довольной улыбкой, которая, впрочем, быстро исчезла, и грустный вздох словно сказал, как мало дают человеческому сердцу такие безделки, как не способны они хоть немного удовлетворить его ненасытные требования.

Затем, бросившись на кушетку, она указала мне на покойное кресло напротив – не перед камином, но у большого открытого окна, так как лето, не забывайте, только еще началось и вечер на исходе июня был теплым и душистым. Я минуты две помолчала, наслаждаясь чистым свежим воздухом и прекрасным видом на пышную зелень парка, купающегося в золотом солнечном сиянии, хотя по земле уже протянулись длинные вечерние тени. Но я решила воспользоваться этой минутой, чтобы спросить кое о чем, и – как в дамских постскриптах – самое важное приберегла напоследок. Для начала я осведомилась о мистере и миссис Мэррей, о мисс Матильде и молодых джентльменах.

В ответ я услышала, что у папы разыгралась подагра, от чего он стал совсем свирепым, но не желает отказываться от дорогих вин, плотных обедов и ужинов и поссорился со своим врачом, который посмел сказать, что никакие лекарства ему не помогут, пока он будет продолжать подобный образ жизни. Мама же и прочие здоровы. Матильда все еще такой же сорванец, каким была, но ей наняли очень тонкую гувернантку, и манеры у нее стали несколько приличнее, и скоро ее начнут вывозить в свет. Джон и Чарльз (вернувшиеся домой на каникулы), судя по всему, «здоровые, дерзкие, непослушные шалуны».

– Ну, а как другие? – спросила я. – Например, Грины?

– А-а! Сердце мистера Грина разбито, – ответила она с томной улыбкой. – Он все еще не может забыть свое разочарование и вряд ли когда-нибудь забудет. Вероятно, он так и обречен умереть старым холостяком. Сестрицы же его очень стараются поскорее выскочить замуж.

– А Мелтемы?

– Полагаю, живут себе потихоньку. Но я о них мало что знаю – обо всех, кроме Гарри. – Тут она слегка порозовела и снова улыбнулась. – Я часто виделась с ним, пока мы жили в Лондоне: едва он узнал, что мы там, как примчался туда под предлогом, что хочет навестить брата, и либо следовал за мной, как тень, куда бы я ни отправлялась, либо встречал меня, точно отражение, куда бы я ни приезжала. Не делайте только шокированного лица, мисс Грей, я вела себя очень чинно, могу вас заверить, но, видите ли, помешать, чтобы тобой восхищались, невозможно. Бедняжка! Он не был моим единственным обожателем, но, пожалуй, наиболее вездесущим, по-моему, самым преданным. А этот противный... кха-кха!... а сэр Томас изволил рассердиться на него... или на мое мотовство... или уж не знаю на что и без предупреждения увез меня в деревню, где, я полагаю, мне предстоит изображать отшельницу до конца моих дней.

И, закусив губу, она хмурым взглядом обвела владения, которые имела неосторожность столь горячо возжелать.

– А мистер Хэтфилд? – осведомилась я. – Что случилось с ним?

Она вновь повеселела и ответила со смехом:

– О! Он подольстился к некой старой деве и недавно сочетался с ней браком: ее тяжелый кошелек перевесил то обстоятельство, что ее красота успела подувянуть, и он надеется найти в золоте утешение, которое не обрел в любви! Ха-ха-ха!

– Ну, что же, как будто мы никого не забыли... Ах да! Остался еще мистер Уэстон. Что поделывает он?

– Право, не знаю. Он уехал из Хортон.

– Давно ли? И куда?

– Мне про него ничего не известно, – ответила она, позевывая. – Знаю только, что уехал он месяц назад, а куда, я не поинтересовалась. (Я чуть было не спросила, нашел ли он себе другое место или получил приход, но вовремя спохватилась.) Все там очень огорчились, – продолжала она, – к большому негодованию мистера Хэтфилда, который его терпеть не мог, потому что он пользовался таким влиянием на бедняков, а перед ним не заискивал и умел поставить на своем. Ну, и еще за какие-то неведомые мне непростительные прегрешения. Однако все-таки надо пойти переодеться, сейчас позвонят второй раз, а если я явлюсь в столовую в таком наряде, леди Эшби примется читать мне нотацию. Так страшно, когда ты не хозяйка в своем доме. Позвоните, и я пошлю за моей горничной, а им прикажу подать вам чай. Ах, до чего несносная женщина!

– Кто? Ваша горничная?

– Да нет, моя свекровь. И какую я допустила роковую ошибку! Перед свадьбой она сказала, что куда-нибудь переедет, а я, дуручка, вместо того, чтобы поймать ее на слове, попросила остаться и вести дом – во-первых, я думала, что мы не будем тут жить подолгу, а во-вторых, по молодости и неопытности испугалась, что мне надо будет отдавать распоряжения слугам, заказывать обеды, устраивать званые вечера, и я подумала, что она поможет мне своей опытностью. Мне же и в голову не приходило, что она окажется узурпаторшей, тиранкой, ведьмой, шпионкой – ну, всем, что только есть в мире гадкого! Ах, как я хотела бы, чтобы она умерла!

Тут она повернулась к лакею, который уже полминуты стоял столбом на пороге, слушая ее обличения, из которых, естественно, вывел свои заключения, хотя и сохранял деревянное выражение лица, как положено в присутствии господ. Когда он получил ее распоряжения и удалился, я заметила, что он, вероятно, не упустил ни слова.

– О, пустяки! – ответила она. – Я лакеев не замечаю. Заводные куклы, и ничего больше. Их не касается, что говорят и делают господа. Повторять они ничего не посмеют, ну, а что они подумают – если у них хватит дерзости думать, – ни малейшего значения не имеет. Вот было бы прелестно, если бы из-за наших слуг мы обрекли себя на немоту!

С этими словами она убежала, чтобы все-таки успеть наспех переодеться, предоставив мне самой отыскивать дорогу в отведенную для меня гостиную, куда мне в надлежащее время принесли чашку чая. Выпив его, я погрузилась в раздумья о прошлом и нынешнем положении леди Эшби, и о тех скудных сведениях, какие сумела получить о мистере Уэстоне, и о том, что мне вряд ли доведется увидеть его или что-нибудь узнать о нем до конца моей тихой серенькой жизни, которая с этих пор словно бы не предлагала мне никакого выбора, кроме дождливых дней или пасмурных, хотя и без дождя. Наконец, мои мысли стали мне тягостны, и я пожалела, что не знаю дороги в библиотеку, про которую упомянула хозяйка дома. Кроме того, я не знала, нужно ли мне сидеть тут, пока не придет пора ложиться спать.

Я была не настолько богата, чтобы иметь часы, и могла судить о том, сколько прошло времени, лишь по медленному удлинению теней за окном, расположенным на боковом фасаде, так что из него был виден уголок парка: купа высоких деревьев, верхние ветки которых служили приютом бесчисленным множествам громогласных грачей, и высокая кирпичная ограда с массивными деревянными воротами – видимо, за ними находился двор конюшен, так как к ним вела из парка широкая дорога. Тень ограды вскоре заполнила все пространство, открытое моему взгляду, а солнечное сияние, отступая дюйм за дюймом, золотило только самые верхушки деревьев, но вскоре и на них легла тень, то ли дальних холмов, то ли самой земли, и мне стало жаль их хлопотливых белоключевых обитателей, чей приют, столь недавно купавшийся в дивном свете, теперь обрел мрачную будничную серость мира внизу – или мира моей души. Несколько мгновений птицы, кру-

жившие выше других, еще хранили на черных как ночь крыльях глубокий червонный отлив, но вот и он погас. Сгущались сумерки, грачи утихомирились, мной овладело тягостное чувство, и я уже жалела, что не уезжаю завтра же. Наконец сомкнулась тьма, и я собралась позвонить, чтобы мне принесли свечу, и отправиться к себе в спальню, но тут вошла моя хозяйка с тысячью извинений, что так надолго оставила меня одну, но во всем виновата «эта гадкая старуха», как она назвала свою свекровь.

– Если бы я не осталась с ней в гостиной, пока сэр Томас допивал свое вино, она мне никогда не простила бы, а если бы я ушла, едва он вошел, как я раза два уже делала, то получила бы еще один нагоняй за то, что смею пренебрегать ее дражайшим Томасом. Она вот никогда не позволяла себе обходиться столь неуважительно со *своим* мужем, а что до любви, так нынешние жены, как видно, знать ее не знают, но, натурально, в *ее* время все было по-другому. Как будто есть хоть какой-то смысл сидеть там и слушать, как он ворчит и брюзжит, если у него дурное настроение, говорит всякий противный вздор, если оно хорошее, или храпит на диване, если успел утопить свое настроение в вине, что теперь случается все чаще. Ведь у него нет другого занятия, кроме как засиживаться за бутылкой.

– Но не могли бы вы отвлечь его от такой дурной привычки? Предложить ему более достойное занятие? Сколько дам, я уверена, позавидовали бы дарованным вам способностям чаровать и развлекать.

– Вот еще! Развлекать его? Нет, я не так смотрю на право жены. Муж обязан угождать жене, а не она ему, и если он недоволен ею такой, какая она есть, и не благодарит Небо за то, что получил ее руку, значит, он ее не достоин, только и всего. Ну, а чаровать его я не собираюсь, мне довольно того, что я переносу от него, и не стараюсь изменить его характер! Но мне очень жаль, что я бросила вас одну, мисс Грей. Как вы провели время?

– Главным образом наблюдая грачей.

– Ах, как вам стало скучно! Нет, обязательно нужно показать вам библиотеку, и непременно звоните, если вам что-нибудь понадобится, и ни в чем себя не стесняйте, словно остановились в гостинице. Я хочу, чтобы вам было хорошо, по самым эгоистическим причинам – чтобы вы погостили у меня подольше и забыли свое гадкое намерение съехать отсюда через день-два.

– В таком случае я не стану мешать вам вернуться в гостиную, потому что устала и хочу спать.

Глава XXIII В ПАРКЕ

На следующее утро я спустилась в гостиную незадолго до восьми часов, как определила по бою часов где-то в отдалении. Ни малейших признаков завтрака – его подали через час, который я провела в сожалениях, что так и не узнала дороги в библиотеку. После своей одинокой трапезы я прождала еще часа полтора в большом недоумении и раздражении, потому что не знала, как поступить. Наконец явилась леди Эшби пожелать мне доброго утра и сообщила, что, едва позавтракав, торопится отправиться со мной погулять по парку. Осведомившись, давно ли я встала, и выслушав мой ответ, она выразила глубочайшее сожаление и вновь обещала показать мне библиотеку. Я заметила, что лучше бы сделать это теперь же, чтобы потом уж не забывать и не вспоминать с раскаянием. Она повела меня туда, но с условием, что я не вздумаю читать или смотреть книги сейчас же, потому что она хочет показать мне сады и погулять по парку, пока еще не слишком жарко – и правда, до самых жарких часов оставалось уже совсем недолго. Разумеется, я охотно согласилась на такой план.

Мы неторопливо шли по аллее, и я слушала рассказы моей спутницы о том, что она видела и узнала во время своих путешествий, как вдруг нас обогнал всадник, который обернулся и посмотрел мне прямо в лицо, так что я в свою очередь успела хорошо его разглядеть: высокий, худой, даже тощий, слегка сутулый, лицо бледное-, но в нездоровых пятнах и с неприятно красными веками, черты невзрачные, выражение вялое и скучающее, но губы злобно поджаты и такие тусклые, пустые глаза!

- До чего же я его не выношу! – с глубокой горечью шепнула леди Эшби, когда всадник удалился легкой рысцой.
- Но кто это? – спросила я, предпочитая не думать, что она говорит так о своем муже.
- Сэр Томас Эшби! – Сказано это было с унылым равнодушием.
- И вы его *не выносите*, мисс Мэррей? – спросила я, от растерянности назвав ее девичьей фамилией.
- Да, не выношу, мисс Грей, и презираю к тому же. И если бы вы его знали, то не стали бы меня осуждать.
- Но ведь вы-то знали, каков он, до того, как вышли за него.
- Нет. Мне только казалось, будто я его знаю. Я и представления не имела, что в нем еще кроется. Да-да, вы меня предупреждали, и я жалею, что не послушалась вас. Но теперь уже поздно. К тому же маме, конечно, было известно куда больше, чем вам или мне, а она слова против не сказала. Совсем наоборот. Ну, и я думала, что он меня обожает и позволит мне все, чего бы я не захотела. Вначале он притворялся, будто так оно и есть, а теперь ему до меня нет дела. И я бы только радовалась: пусть он вытворяет, что ему вздумается, лишь бы я могла развлекаться, как нравится мне, жить в Лондоне или приглашать сюда моих друзей. Но нет! Это *он* делает, что ему нравится, а я должна жить тут, как пленница и рабыня. Едва он заметил, что мне весело и без него, что другие знают мне цену лучше, чем он, как дрянной себялюбца принялся обвинять меня в кокетстве и мотовстве и всячески поносить Гарри Мелтема, хотя не достоин и башмаки ему чистить. А потом насильно увез меня в деревню вести жизнь монахини, а то как бы я его не обесчестила или не разорила! Как будто сам не в сто раз хуже со своими пари, игрой по крупному, оперными певичками, леди Той, мисс Этой – не говоря уж о бутылках вина и коньяке с водой! Ах, я десять тысяч миров отдала бы, лишь бы по-прежнему быть мисс Мэррей! Так горько чувствовать, что жизнь, молодость, красота пропадают понапрасну, не принося ни счастья, ни радости из-за такого животного! – воскликнула она и чуть не расплакалась от бессильной досады.
- Разумеется, мне было чрезвычайно жаль ее – и потому, что человек, с которым она навсегда связала свою жизнь, оказался столь недостойным, и потому, что ее представления о счастье и собственном долге были столь ложными. Я постаралась утешить ее, насколько было в моих силах, и дать те советы, какие могли, по моему мнению, принести ей пользу: во-первых, кроткими убеждениями, ласковостью, собственным примером и заботливым вниманием попытаться смягчить мужа, а потом, если, сделав все от нее зависящее, она убедится, что он неисправим, постараться найти от него убежище в собственной безупречности и не принимать к сердцу ничего с ним связанное. Я убеждала ее искать утешение в исполнении своего долга перед Богом и людьми, уповать на волю Небес и посвятить себя заботам о своей дочурке, за которые, добавила я, ей воздастся сторицей, когда она начнет находить радость в ее детской любви и в наблюдениях за тем, как девочка растет и как образуются ее ум и душа.
- Но я не могу посвятить себя всю младенцу! – возразила леди Эшби. – Она ведь может умереть, это даже вероятно.
- Из хилых младенцев вырастают крепкие и здоровые дети, нужен только любящий уход за ними, – возразила я.
- Но она может вырасти в такое подобие своего отца, что я ее возненавижу!
- Вряд ли. Она ведь девочка и уже очень похожа на мать.
- Ах, все равно! Лучше бы она была мальчиком, хотя, впрочем, отец промотал бы его наследство раньше, чем он стал бы взрослым. Что за радость смотреть, как девочка вырастает, чтобы затмить меня и наслаждаться удовольствиями, которых меня навек лишили? Но предположим, я окажусь настолько великодушной, что правда обрету в этом радость, так ведь она же всего лишь ребенок, а я не могу сосредоточить все свои надежды только на ребенке – это же немногим лучше, чем посвятить свою жизнь болонке! Благоразумие и добродетель, которые вам так хотелось бы во мне пробудить, – свойства, не спорю, весьма похвальные, и будь мне лет на двадцать больше, вероятно, ваши советы пошли бы мне очень на пользу. Но молодость дается нам для наслаждений, и как же не ненавидеть тех, кто нас их лишает?
- Высшее наслаждение – исполнять свой долг и ни к кому не питать ненависти. Цель рели-

гии не в том, чтобы учить нас умирать, но в том, чтобы учить нас жить. И чем раньше вы станете благоразумной и возлюбите добродетель, тем больше счастья обретете. А теперь, леди Эшби, я хотела бы дать вам последний совет: постарайтесь не смотреть на свою свекровь, как на врага. Не привыкайте сторониться ее и питать к ней ревнивое недоверие. Я никогда ее не видела, но слышала о ней и хорошее, а не только дурное. Хотя она держится холодно и надменно и очень придиричива, мне кажется, она способна искренне привязаться к тем, кто будет искать такой привязанности, и, как ни слепо ее чувство к сыну, она, по-моему, обладает твердыми принципами и доступна доводам рассудка. Если вы попыгаете сделать шаг ей навстречу, быть с ней мягкой, открытой и даже поверять ей свои огорчения – только *подлинные*, на которые у вас есть право сетовать, то, по моему твердому убеждению, со временем она станет вашим истинным другом, утешением и опорой, а не той ведьмой, какой вы ее описали.

Боюсь, однако, мои советы пропали втуне, и, как только я поняла, что никакой пользы несчастной молодой женщине я принести не сумею, мое пребывание в Эшби-Парке стало для меня вдвойне тягостным. Мне пришлось пробыть там до конца этого дня и весь следующий, как я обещала, однако никакие уговоры и соблазны не принудили меня продлить мой визит, и я уехала на четвертый день утром, сославшись на то, что мама нетерпеливо ожидает моего возвращения и я не хочу, чтобы она дольше оставалась одна. Тем не менее, когда я попрощалась с бедной леди Эшби и оставила ее среди роскоши поистине княжеской обители, на душе у меня лежал камень. Какие еще требовались доказательства того, как несчастна бедняжка, если ей служило утешением мое присутствие и она цеплялась за общество той, о ком не вспоминала, пока была счастлива, чьи вкусы и мнения были ей столь чужды и чье присутствие из удовольствия превратилось бы в досадную помеху, если бы она могла обрести хотя бы часть желаний своего сердца.

Глава XXIV У МОРЯ

Наш пансион был расположен не в самом сердце А., а на въезде в него с северо-запада, где по обеим сторонам широкой дороги стоят солидные дома с узкими палисадниками, жалюзи на окнах и десятком ступенек, ведущих к аккуратным дверям с медными ручками. В одном из самых больших и обитали мы с мамой, а также те барышни, которых друзья или посторонние люди решили доверить нашим попечениям. Иными словами, мы жили в отдалении от моря, отделенные от него целым лабиринтом улиц и домов. Но я бесконечно любила море и часто с радостью отправлялась через весь городок, чтобы погулять возле него – и с ученицами, и только с мамой в дни каникул. Море восхищало меня в любое время года, в любой час, но особенно, когда волны плясали под крепким бризом в солнечной свежести летнего утра.

На третий день после возвращения из Эшби-Парка я проснулась на заре, едва первые лучи солнца проникли в комнату сквозь жалюзи, и подумала, как будет приятно пройти по тихим улицам и прогуляться по берегу, пока весь мир еще спит. Сказано, сделано. Разумеется, маму будить я не хотела, а потому бесшумно прокралась вниз на цыпочках и осторожно отодвинула засов. Когда я выскользнула за дверь, церковные куранты отбили три четверти шестого. Даже на улицах веяло бодрящей свежестью, когда же они остались позади и мои ноги ступили на твердый песок, а впереди простерлась ширь сверкающей бухты... Нет, мне не найти слов, чтобы описать ясную лазурь небес и моря, утреннее солнце, льющее лучи на полукруг отвесных обрывов и гряды зеленых холмов над ними, на ровный белый песок, на невысокие скалы в уборе из водорослей и мхов, точно поросшие травой островки, и главное – на сверкающие, рассыпающиеся искрами волны! А несказанная чистота и хрустальность воздуха! Солнце пригревало ровно настолько, чтобы сделать бриз приятным, а он дул лишь с такой силой, чтобы море танцевало и волны, пенясь, накатывались на песок, словно вне себя от восторга. И нигде ни единой живой души, кроме меня. Только мои следы виднелись на глади песка, выровненного и укатанного ночным приливом, который, правда, оставил кое-где бегущие рябью лужицы и промоины.

Я шла, исполненная ликующей радости, забыв все заботы: мне казалось, что на ногах у меня выросли крылья, и я могу пройти хоть сорок миль, не ощутив ни малейшей усталости – с далеких

дней детства не испытывала я такой блаженной бодрости. Однако около половины седьмого появились конюхи, прогуливавшие лошадей, и вскоре я насчитала шесть всадников. Но меня это не огорчило, потому что я уже добралась до камней, где лошадям нечего было делать.

Ступая по мокрым, скользким водорослям, рискуя сорваться в прозрачные соленые озерца, которыми изобиловало это место, я выбралась на мшистый мысок, по сторонам которого плескались волны. Тут я оглянулась посмотреть, кто еще спустился на берег. Но кроме тех же шести всадников увидела в отдалении лишь мужскую фигуру, перед которой темным клубком катилась собака, да водовоза, спускавшегося со своей бочкой по откосу, чтобы набрать воды для ванн. Еще несколько минут – и задвигаются купаленки на колесах, после чего на утренний моцион выйдут пожилые чинные джентльмены и чопорные квакерши. Но каким бы любопытным ни обещало быть это зрелище, блеск солнца и волн настолько меня ослепил, что после одного-единственного взгляда я отвернулась и стала глядеть и слушать, как море, шурша, накатывается на мой мысок, успев утратить силу на подводных рифах и в гуще водорослей – не то я была бы уже совсем мокрой от брызг. Тем временем начался прилив, вода наступала, озерца и лужицы вновь наполнялись, промоинки расширялись, и пора было перебраться в более безопасное место. Скользя и спотыкаясь, я выбралась на твердый ровный песок, но решила сначала дойти до обрыва, а уж потом вернуться обратно.

Внезапно позади меня послышалось сопение и мне в ноги ткнулся, извиваясь всем телом... Снэп! Мой маленький темный жесткошерстный терьер! Я окликнула его, и он с залиvistым твяканьем попытался лизнуть меня в лицо. Обрадованная не меньше, чем он, я подхватила песика на руки и расцеловала. Но откуда он тут взялся? Не мог же он свалиться с неба или в одиночестве проделать весь путь сюда от Хортон! Вероятно, он тут с хозяином – крысоловом или каким-то другим. А потому я прервала наши взаимные восторги, опустила его на землю, оглянулась и увидела... мистера Уэстона!

– Ваша собачка вас не забыла, мисс Грей, – сказал он, крепко пожимая мне руку, которую я ему протянула, сама не понимая, что делаю. – А вы ранняя пташка!

– Только в редких случаях, – ответила я с необыкновенным самообладанием, если принять во внимание все обстоятельства.

– Но вы ведь еще не возвращаетесь?

– Нет, я как раз думала повернуть назад... вероятно, уже поздно.

Он достал часы – теперь уже золотые! – и сказал, что еще только пять минут восьмого.

– Однако, – продолжал он, – вы, вероятно, устали. – И пошел рядом со мной, потому что я медленно направилась в сторону городских улиц.

– А в какой части города вы живете? – спросил он затем. – Мне так и не удалось это узнать.

Не удалось узнать! Так, значит, он узнавал? Я объяснила, где расположен наш дом. Он осведомился, как идут наши дела. Я ответила, что очень хорошо – после Рождества у нас появилось много новых пансионеров, и число их после летних каникул, видимо, тоже увеличится.

– Вероятно, вы прекрасная учительница.

– Нет-нет, это мама, – ответила я. – Она так образованна, энергична, умна и умеет все устроить наилучшим образом.

– Мне хотелось бы познакомиться с вашей матушкой. Вы меня ей представите, если я навещу вас?

– Очень охотно.

– А вы разрешите мне на правах старого друга иногда бывать у вас?

– Да. Если... Полагаю, что...

Ответ был удивительно глуп, но я не считала себя вправе приглашать кого-нибудь в дом моей матери без ее ведома. Но скажи я: «Да, если мама не будет иметь ничего против», получилось бы, что я вкладываю в его слова особый смысл. А потому, я и добавила «полагаю» – в том смысле, что не сомневаюсь в ее согласии. Но, разумеется, я могла бы ответить и более внятно, и более вежливо, если бы не была так ошеломлена. Около минуты мы шли в молчании, которое, впрочем (к большому моему облегчению), мистер Уэстон вскоре прервал, заговорив о прелести утра, о красоте бухты и о преимуществах А. перед многими другими курортами.

– Но вы не спросили, каким образом я оказался в А., – продолжал он. – Ведь не думаете же вы, что мне по средствам приехать сюда ради удовольствия?

– Я слышала, что вы расстались с Хортоном.

– Но, следовательно, не слышали, что я получил приход в Ф.

В Ф.! В деревушке всего в двух милях от А.!

– Нет, – ответила я. – Мы даже здесь живем очень уединенно, и новости редко до нас доходят... Только благодаря местной газете... Но надеюсь, вы довольны своим приходом, и я могу вас от души поздравить?

– Полагаю, приход мой вам понравится больше через год или два, когда мне удастся осуществить кое-какие задуманные мною реформы или хотя бы приступить к ним. Но поздравить меня можно уже сейчас, потому что во всяком случае чудесно, когда приходом распоряжаюсь я один, когда никто не вмешивается, чтобы положить конец моим планам или свести на нет мои усилия. А кроме того, у меня недурной дом, приятное соседство и триста фунтов годовых. Откровенно говоря, жаловаться я могу лишь на одиночество, а желать мне нечего, кроме подруги жизни.

При последних словах он посмотрел прямо на меня, и молния из его темных глаз зажгла мое лицо жарким румянцем – к великой моей досаде, так как в подобный момент выдать свое смущение было невыносимо. А потому я сделала над собой большое усилие, чтобы поправить дело, и, притворяясь, будто не усмотрела в этих словах ничего личного, торопливо и сбивчиво заметила, что едва его получше узнают в этих местах, он, разумеется, сумеет найти ее среди обитательниц Ф. и окрестностей, а если ему такой выбор покажется мал, так ведь остается еще и А.!.. Я даже не сообразила, какой двусмысленный комплимент содержит эта фраза, пока он не ответил:

– О, я не настолько самодоволен, чтобы поверить этому даже из ваших уст! Но будь это правдой, у меня есть свои представления о той, с кем мне хотелось бы разделить жизнь, и, быть может, среди упомянутых вами девиц я ее не сыщу.

– Если вы требуете совершенства, то никогда его не найдете.

– Вовсе нет. Какое у меня есть право требовать совершенства, если я сам далек от него?

Тут наш разговор прервала водовозная бочка, которая прогромыкала мимо, так как уединенная часть берега осталась позади, и минут десять мы пробирались между повозками, лошадьми, осликами и пешеходами, не возобновляя его. Наконец мы повернулись спиной к морю и начали взбираться по крутой дороге, ведущей в город. Мой спутник предложил мне руку, и я оперлась на нее, хотя, сказать правду, совсем в опоре не нуждалась.

– Видимо, вы редко бываете тут, – заметил он. – После моего приезда я не раз прогуливался по берегу и утром и вечером, но встретил вас лишь сегодня. И когда ходил по городу, то старался найти вашу школу. Однако поискать на дороге в... я не додумался. А попытки навести справки тоже ничего не дали.

Когда откос остался позади, я хотела отнять руку, но он чуть прижал ее локтем, безмолвно дав понять, что он не желает этого, и я подчинилась. Разговаривая о том о сем, мы вошли в город и миновали несколько перекрестков. Я поняла, что он захотел меня проводить, хотя ему предстояла еще длинная дорога в Ф., и, боясь, что он затрудняет себя из вежливости, я сказала:

– Боюсь, мистер Уэстон, вы из-за меня сделали большой крюк. Ведь Ф. совсем не в этой стороне.

– Я попрощаюсь с вами в конце следующей улицы.

– А когда вы придете познакомиться с мамой?

– Завтра... если Бог даст.

На следующем углу он остановился – до моего дома оставалось лишь несколько десятков шагов, но он попрощался со мной и кликнул Снэпа, который словно бы не знал, то ли ему пойти за прежней хозяйкой, то ли за новым хозяином, но тотчас отозвался на его зов.

– Я не Предлагаю вернуть его вам, мисс Грей, – с улыбкой заметил мистер Уэстон, – потому что очень к нему привязался.

– Отбирать его у вас я вовсе не собираюсь, – ответила я. – Мне совершенно довольно, что у него теперь хороший хозяин.

– Так, значит, вы ничуть не сомневаетесь, что я хороший?

Они ушли, а я вернулась домой, благодаря Небеса за такое счастье и горячо молясь, чтобы мои надежды вновь не были сокрушены.

Глава XXV ЗАКЛЮЧЕНИЕ

– Агнес, тебе не следует отправляться в такие длинные прогулки перед завтраком, – сказала мама, заметив, что я выпила лишнюю чашку кофе и не стала ничего есть, сославшись на жару и утомление. Я действительно устала и ощущала что-то вроде лихорадки.

– Ты ни в чем не знаешь меры. Вот если бы ты по утрам совершала небольшие прогулки, и постоянно, это было бы тебе очень полезно.

– Хорошо, мама.

– Но это даже вреднее, чем лежать в постели или сутулиться над книгами. Ты заболеешь!

– Я больше не буду, – ответила я, ломая голову, как рассказать ей о мистере Уэстоне: ведь он же придет завтра! Однако я подождала, пока со стола не убрали, а сама я немножко не остыла и не успокоилась. А тогда, открыв альбом и взяв кисточку, я начала:

– Сегодня я встретила на берегу старого знакомого, мама.

– Старого знакомого? Кого бы это?

– Собственно, двух старых знакомых. Один был терьер... – И тут я напредила ей про Снэпа, чью историю она знала, а потом описала, как он вдруг подбежал ко мне, сразу меня узнав, как это ни удивительно. – Ну, а второй, – продолжала я, – был мистер Уэстон, хортонский младший священник.

– Мистер Уэстон? Что-то раньше я про него ничего не слышала.

– Да нет же! Я несколько раз про него упоминала. Просто вы забыли.

– Ты рассказывала про мистера Хэтфилда.

– Мистер Хэтфилд приходский священник, а мистер Уэстон был его помощником. И я про него упоминала, потому что он полная противоположность мистеру Хэтфилду, и к пастырским своим обязанностям относился гораздо серьезнее. Но как бы то ни было, я встретила его на берегу со Снэпом, вероятно, он его купил у крысолова, – и он тоже сразу меня узнал... наверное, благодаря Снэпу. Мы с ним немножко поговорили, и он спросил про нашу школу, а я что-то сказала про вас, как вы все прекрасно устроили, и он сказал, что очень хотел бы с вами познакомиться, и спросил, не представлю ли я его вам и нельзя ли ему позволить себе такую вольность и прийти с визитом завтра же? И я сказала, что можно. Я правильно поступила?

– Конечно. А что он за человек?

– Очень *порядочный*, по-моему. Но вы сами завтра увидите. Он только что получил приход в Ф. и за эти несколько недель, наверное, еще не обзавелся знакомствами и чувствует себя одиноко.

Наконец наступил следующий день. В какой лихорадке, тревоге и надежде провела я часы между завтраком и полуднем, когда он наконец пришел! Представив его маме, я села с альбомом к окну ожидать результатов. К моей огромной радости, они вскоре уже разговаривали точно старые знакомые – ведь меня очень тревожило, как он покажется маме! Посидел он недолго, но когда встал, прощаясь, она сказала, что будет рада видеть его у нас в любое удобное ему время. А когда он ушел, она и вовсе привела меня в восторг, заметив:

– Что же, по-моему, весьма достойный человек. Но, Агнес, почему ты села так далеко и все время молчала?

– Потому что вы так хорошо говорите, мама. И я подумала, что моя помощь вам не нужна. К тому же он пришел в гости к вам, а не ко мне.

После этого он навещал нас довольно часто – несколько раз в неделю. Разговаривал он обычно с мамой, и не удивительно, – она ведь была прекрасной собеседницей. Я почти завидовала непринужденности и легкости, с какой она излагала свои мысли, а также их значительности и глубине. – И все-таки настроение это мне ничуть не портило, потому что, хотя я иногда и сожалела о своем косноязычии, мне было очень приятно слушать, как два самых дорогих мне человека на свете обсуждают что-то так по-дружески, так умно и интересно! Впрочем, я вовсе не всегда молчала

и вовсе не чувствовала себя забытой. Нет, ко мне все время обращались, мне говорилось много чудных слов, сопровождавшихся еще более чудными взглядами, меня окружали всевозможными знаками внимания, такими деликатными и тонкими, что их нельзя выразить в словах и, следовательно, описать, – зато проникавшими в самое сердце.

Вскоре мы оставили всякие церемонии, мистер Уэстон приходил как желанный гость и стал у нас в доме совсем своим. Он даже называл меня «Агнес»: вначале робко, но, убедившись, что это никого не возмутило, предпочел и дальше обходиться без официального «мисс Грей» – чем доставил мне большую радость! Какими скучными и мрачными казались дни, когда он не приходил! Но грустными они все-таки не были, потому что меня подбодряли мысли о прошлом его визите и мечты о следующем. Однако, если я не видела его два-три дня подряд, мне становилось очень страшно – разумеется, без всякого на то основания: ведь у него было много всяких дел в приходе. И я с ужасом думала о конце каникул, когда я тоже буду занята и либо не сумею выйти к нему, либо, наоборот, когда мама будет в классной комнате, останусь с ним наедине, чего дома мне вовсе не хотелось, хотя случайно встретить его на улице и пройти рядом с ним было так чудесно!

Как-то вечером за неделю до конца каникул он пришел – хотя я его почти не ждала, потому что днем долго бушевала гроза. Правда, теперь тучи разошлись, и ярко светило солнце.

– Прекрасный вечер, миссис Грей, – сказал он, входя. – Агнес, не прогуляетесь ли вы со мной до... – и он назвал крутой холм, обрывающийся прямо в море, с вершины которого открывался великолепный вид. – Дождь прибил пыль, очистил и освежил воздух, и дали сейчас удивительно ясные. Вы согласны?

– Можно, мама?

– Ну, разумеется.

Я пошла переодеться и через несколько минут спустилась вниз, хотя, конечно, задержалась перед зеркалом подольше, чем если бы просто отправлялась за покупками. Гроза, бесспорно, оказалась очень благотворной, и вечер был восхитителен. Мистер Уэстон настоял, чтобы я оперлась на его руку, но пока мы шли по людным улицам, он почти ничего не говорил, шагал очень быстро и выглядел задумчивым и рассеянным. Я старалась угадать, что случилось, и мучалась предчувствием, что его гнетут тяжелые мысли. Однако эти придуманные страхи рассеялись, едва мы вышли на тихую окраину и увидели впереди старинную церковь, холм, а за ним морскую синеву, потому что мой спутник произнес веселым тоном:

– Боюсь, я заставил вас почти бежать, Агнес. Мне не терпелось скорей уйти из города, и я не подумал, что вам трудно успевать за мной. А теперь мы пойдем не спеша, и вы отдохнете. Те светлые облака на западе обещают великолепный закат, и мы успеем подняться на холм как раз вовремя, чтобы полюбоваться им над морем.

На полпути вверх по склону между нами вновь воцарилось молчание. Как обычно, первым его прервал он.

– Мой дом по-прежнему пуст и уныл, мисс Грей, – сказал он с улыбкой, – и я теперь знаком со всеми девицами в моем приходе, и у меня есть незамужние знакомые в городе, других же я знаю в лицо или по слухам, однако ни в одной из них нет того, что я ищу в спутнице жизни. По правде говоря, во всем мире лишь одна создана для меня – это вы. И я хотел бы узнать ваше решение.

– Вы говорите серьезно, мистер Уэстон?

– Серьезно? Неужели вы полагаете, что я сейчас способен шутить?

Он прикрыл ладонью мою руку, которая лежала на сгибе его локтя, и, наверное, почувствовал, как она затрепетала. Но теперь это уже не имело значения.

– Надеюсь, я не был слишком уж поспешен, – сказал он серьезным тоном. – Но вы же знаете, что я не умею говорить комплименты, нашептывать нежный вздор или даже выражать восхищение, которым полон. И что одно мое слово или взгляд значат больше, чем медовые речи и пылкие клятвы большинства других мужчин.

Я пробормотала что-то о том, что не хотела бы расставаться с мамой и что без ее согласия ни на что не решусь.

– Я поговорил с миссис Грей, пока вы надевали шляпку, – ответил он. – Она сказала, что даст свое согласие, если я получу ваше, а я попросил ее – в случае если удостоюсь подобного счастья – поселиться у нас, так как догадывался, что таково будет ваше желание. Но она отказалась, объяснив, что уже может взять себе помощницу и намерена держать пансион, пока не приобретет ренту, чтобы жить на нее в удобном доме, а до тех пор на каникулах будет гостить поочередно у нас и у вашей сестры, ведь, кроме вашего счастья, ей ничего не нужно. На ваши возражения, касающиеся вашей матушки, я ответил. Есть у вас какие-нибудь еще?

– Нет, никаких.

– Так, значит, вы меня любите? – воскликнул он, пылко сжимая мою руку.

– Да.

Тут я прерву свое повествование. Мой дневник, легший в его основу, почти не имел продолжения. Я же могла бы писать и писать без конца, но удовлетворюсь упоминанием, что никогда не забуду этого дивного летнего вечера и всегда буду с восторгом вспоминать крутой холм и обрыв, над которым мы стояли рука об руку и смотрели, как великолепный закат отражается в пляшущих волнах у наших ног, а сердца наши были полны благодарностью Небесам, счастьем и любовью – так полны, что мы не находили слов для их выражения.

Несколько недель спустя, когда мама нашла себе помощницу, я стала женой Эдварда Уэстона, и с тех пор ни разу не нашла причины раскаяться в этом – и никогда не найду. У нас были свои тяжелые минуты, и мы знаем, что немало их ждет нас впереди, но вместе нам легче их переносить, и мы стараемся укрепить дух друг друга, готовясь к последней разлуке – величайшему горю, которое ждет оставшегося в живых. Но, памятуя о светлых небесах, где нет ни греха, ни печали и где разлученные встречаются вновь, можно перенести и его. Пока же мы стараемся жить по заветам Того, Кто одарил нас столькими милостями.

Эдвард, не жалея стараний, сумел на удивление изменить к лучшему свой приход, все обитатели которого почитают и любят его, как он того заслуживает – ибо каковы бы ни были его недостатки как человека (а он их лишен!), как пастыря, мужа и отца, его никто ни в чем упрекнуть не может, это я знаю твердо.

Наши дети, Эдвард, Агнес и малютка Мэри, показывают хорошие задатки. Пока их воспитанием и образованием занимаюсь главным образом я, и у них не будет недостатка в тех благах, которые дарит материнская заботливость. Нашего скромного дохода более чем достаточно для наших нужд. Соблюдая экономию, которой научились в более стесненных обстоятельствах, и не стараясь гнаться за более богатыми соседями, мы не только живем в достатке и довольстве, но каждый год откладываем кое-что для наших детей и кое-что для помощи неимущим.

Ну что же, пожалуй, я сказала все.